**Диана**

Генрих Манн

Богини, или Три романа герцогини Асси. Книга 1

I

В июле 1876 года европейская печать была полна рассказами о красоте и выходках герцогини Виоланты Асси. Ее характеризовали, как «породистую женщину из высшей аристократии с пикантными причудами в красивой головке»; говорили, что «ее политические авантюры отметит история, не придавая им, однако, серьезного значения».

Было бы несправедливо придавать им серьезное значение, так как они не удались. Одна из самых блестящих представительниц интернационального высшего общества, герцогиня в последнее время напала на мысль поднять революцию на своей родине В Далматском королевстве. Заключительная сцена этого романтического заговора, неудавшийся арест герцогини и ее бегство, обошла все газеты.

В полночь — час заговорщиков — во дворце Асси, на Пиацца делла Колонна в Заре собралось блестящее общество. Наступил решительный момент; все приверженцы отважной женщины приходят в последнюю минуту показаться ей; сановники, надеющиеся на место и голос в совете новой королевы, двадцатилетние лейтенанты, рискующие своей карьерой и жизнью ради одного ее взгляда. Примчался и маркиз Сан Бакко, старый гарибальдиец, без которого не обходится ни один заговор во всех пяти частях света. Здесь и фактотум герцогини, барон Христиан Рущук, многократно крещеный и к тому же украшенный баронским титулом.

Ее самой еще нет, все ищут ее глазами. Но вот гости расступаются; тихие взволнованные разговоры замолкают. Появляется она. Уже готовы раздаться приветственные клики. Но она стоит в рубашке... и улыбается.

Все теснятся, перешептываются, изумленно вглядываются. Самые решительные, безусловные поклонники готовы на все закрыть глаза: но это ночная рубашка, доходящая до полу и вся украшенная английским кружевом, но все же ночная рубашка.

Вдруг сорочка спускается. Какой-то господин испуганно отмахивается, несколько дам тихо вскрикивают. Она соскальзывает с плеч: момент высшего напряжения — герцогиня стоит в бальном туалете и улыбается. Она переступает через рубашку, которую кто-то уносит, она начинает говорить, — все обстоит благополучно.

Ей приносят письмо. Она прочитывает его и, топнув ногой, бросает окружающим. Ее приближенный, пылкий трибун Павиц или Павезе пишет ей, что все погибло, надо немедленно бежать. Он ждет ее у пристани.

Она удаляется. В зал входит офицер в каске: «Именем короля». Он осматривается, его забрасывают вопросами, он показывает приказ об аресте. В дверь просовывает голову герцогиня в ночной рубашке. Полковник пугается и отдает честь. — Я нездорова, — говорит она, — я принуждена была уйти к себе. Не позволите ли вы мне одеться? Полчаса? — Гости выходят толпой из всех комнат на лестницу. На улице какая-то дама в желтом атласном платье с кружевной вуалью на лице громко смеется. Ее тесно окружает группа мужчин, не отступающая от нее ни на шаг. Ее усаживают в экипаж. Когда лошади трогают, она кивает из окна задыхающемуся Рущуку: «До свидания, мой придворный жид», и быстро уезжает.

Замок Асси, в котором она выросла, стоял среди моря, на двух, разделенных узким каналом, скалах, в расстоянии ружейного выстрела от берега. Он, казалось, вырастал из этих рифов, серый и зубчатый, как они.

Проезжавшие мимо не могли различить, где кончалась скала и где начинались стены. Но вдоль мрачных каменных груд мелькало что-то белое: маленькая белая фигурка жалась к передней из четырех зубчатых башен. Она бродила по галерее остроконечных утесов, грациозно и уверенно двигаясь по узкой дорожке между стеной и пропастью. Рыбаки знали ее, и девочка тоже узнавала каждого издали по его костюму, по окраске и парусам его барки. Вот этого человека в тюрбане, который поглаживал свою черную бороду, издали кланяясь ей, она ждала уже неделю: он приезжал каждые три месяца, его ялик так и плясал, в нем были только губки. У того, в шароварах и красной остроконечной шапке, был желтый парус с тремя заплатами. А вот этот, подъезжая ближе, натягивал коричневый плащ поверх головы: он считал белое там наверху Мойрой, ведьмой, которая живет в пещерах на скалах и носит башмаки из человеческих жил. Из нее вылетает дьявол, принимающий вид бабочки, и пожирает человеческие сердца. Благодаря болтливости камеристки, Виоланта узнала эту легенду; она удивленно улыбалась, когда ей встречались неразумные существа, верившие в это. И когда сирокко с грохотом вздымал волны до самого обветренного мокрого бастиона и гнал их к ее ногам, девочка в неясных, полных сомнений образах грезила о далеких, чуждых судьбах теней, тихо, нерешительно скользивших мимо нее за облаком пены.

\* \* \*

Иногда ее одинокую детскую душу охватывало желание почувствовать свою власть: она созывала свою челядь в гербовый зал. Необыкновенно длинный, с истертыми плитами и темным покатым бревенчатым потолком, он покоился над пропастью между обоими утесами, на которых возвышался замок. Под ногами чувствовалось, как волнуется море; серое, как сталь, под знойным затуманенным солнцем заглядывало оно с трех сторон в девять окон. На четвертой стороне со стены спадали узорчатые ткани, на сквозном ветре скрипели двери, над косяками которых висели покривившиеся и потрескавшиеся гербы: белый гриф перед полуоткрытыми воротами на черно-голубом поле. Кто-то откашливался, затем все умолкали. Перед камином с остроконечным верхом стоял кастелян замка, горбатый человечек, гремевший большими ключами и самого важного из них, ключа от колодца, не выпускавший из рук даже во сне. На другой стороне маленький пастушок робко стоял перед неподвижным изваянием господина Гюи Асси, перед темным румянцем на его костлявых щеках и железным взглядом из-под черного шлема. В средине возвышался, как белая башня, гигант-повар. Из-за его спины выглядывала экономка, в развевающемся чепце и с выдающимся животом, а направо и налево тянулись пестрые ряды камеристок, лакеев, судомоек и скотниц, батраков, прачек и гондольеров. Виоланта подбирала свое длинное шелковое платьице, нитка мелкой бирюзы позвякивала в тишине на ее черных локонах; и она грациозными, твердыми шагами шла по колеблющемуся полу мимо пошатывающихся старушек и чванных лакеев, вдоль почтительной и причудливой линии придворного штата, который только для нее работал и только перед ней дрожал. Она хлопала повара веером по брюшку и хвалила его за начиненные марципаном персики. Она спрашивала одного из лакеев, что он собственно делает — она его никогда не видит. Какой-нибудь горничной она милостиво говорила: «Я довольна тобой», при чем та совершенно не знала, за что ее хвалят.

\* \* \*

Море успокаивалось; тогда она приказывала перевезти себя на материк. Небольшая роща пиний, уцелевшая под защитой замка, вела к холмам, обросшим кустарником; они окружали маленькое озеро. Платаны и тополи скудно украшали его берега, редкие ивы склонялись к нему, но девочка бродила, точно в густом лесу, среди кустов можжевельника с большими ягодами и земляничных кустов, усеянных красными, липкими плодами. С соседнего луга на тихое зеркало падали густые желтые отблески. Во влажной глубине замирала синева неба. У самого берега в зеленой воде громоздились большие зеленые камни, и в этих безмолвных дворцах плавали серебристые рыбки. Каменный сводчатый мост вел к узкому острову, на котором возвышалась белая беседка, украшенная розетками и плоскими пилястрами из пестрого мрамора. Стройные колонки в глубине ее были покрыты трещинами, розовые раковины наполняла пыль, трюмо тускнели под своими фарфоровыми венками.

Из угла, где стояло кресло розового дерева, доносился громкий треск. Девочка не пугалась; в летние утра она лежала на подушках, отвечая улыбкой на веселую улыбку двух портретов. У дамы была молочно-белая кожа, бледно-лиловые ленты лежали в мягком углублении между плечом и грудью и в пепельно-белокурых волосах, черная мушка плутовски притаилась в углу бледного ротика. Ее кокетливая, нежная шея была повернута к шелковому, розовому кавалеру, который так любил здесь эту даму. Он был напудрен, полные губы окаймляла темная бородка. Виоланта знала о нем многое: это был Пьерлуиджи Асси. В Турине, Варшаве, Вене и Неаполе он шутя устраивал союзы и ссорил дворы. Королева польская благоволила к нему, из-за нее он убил пятерых шляхтичей и чуть не погиб сам. Где он проходил, там звенело и рассыпалось золото. Когда оно приходило к концу, он умел добывать новое. Его жизнь была полна блеска, интриг, дуэлей и влюбленных женщин. Он служил Венецианской республике; она назначила его своим наместником в Далмации, и он управлял страной, как счастливая Цитера: среди гирлянд роз, с бокалом в одной руке, другой обнимая молочно-белые плечи. Он умер с шуткой на устах, вежливый, снисходительный к грехам других и несклонный к раскаянию в своих.

Сансоне Асси также находился на службе у республики в качестве ее генерала. За искусно отлитую пушку с двумя львами он продал город Бергамо французскому королю. Затем он завоевал его обратно, так как хотел захватить и литейщика, который находился в нем. Но штурм стоил ему слишком многих из его дорого оплачивавшихся, богато и красиво вооруженных солдат; в гневе он велел расплавить пушку и повесить художника. Золотая Паллада Афина украшала его шлем, на панцире выдавалась отвратительно кричащая голова Медузы. Его жизнь была полна пурпурных палаток на сожженных полях, факельных шествий нагих юношей и мраморных статуй, забрызганных кровью. Он умер стоя, с пулей в боку и со стихом Горация на устах.

Гюи и Готье Асси покинули Нормандию и отправились на завоевание гроба господня. Их жизнь загромождали массы изрубленных тел, искаженных голов в тюрбанах, бледных женщин с умоляюще поднятыми младенцами — в белых городах, с содроганием смотревших на красное от крови море. Их души возносились к светлым облакам, их железные ноги попирали человеческие внутренности. Они наслаждались ласками страстных султанш и думали о целомудренной девушке с крепко сомкнутыми устами, ждавшей дома. На обратном пути, щеголяя княжескими титулами сказочных царств, без гроша денег и с изможденными телами, они узнали, что оба думали об одной и той же. Поэтому Гюи убил своего брата Готье. Он построил на утесах в море свой замок и умер пиратом, окруженный множеством кривых сабель, которые, однако, не достигли его, потому что его корабль сгорел.

Из глубочайшего мрака времен в грезы маленькой Виоланты заглядывала призрачно-белая маска полубога: каменное лицо ее первого предка, того Бьерна Иернсиде, который пришел с севера. Крепкое питье, которое давала ему мать, сделало из него «медведя с железным боком». Во Франции он завоевал со своей дружиной много земель, на берегах Испании и Италии у христиан и мусульман выжег воспоминание о языческих богатырях, полных коварства и с руками, тяжелыми, как рок. Он бросил якорь в Лигурийском море перед городом, который показался ему могущественным. Поэтому он послал сказать графу и епископу этого города, что он их друг и хочет креститься и быть погребенным в соборе, так как лежит на смертном одре. Глупые христиане окрестили его. Его дружина в траурном шествии понесла мертвого в собор. Там он выскочил из гроба, из-под плащей появились мечи, началась веселая резня испуганных христианских овец. Но когда Бьерн стал властителем, он узнал, к своему сожалению, что подчинил себе не Рим. Он хотел завоевать Рим и приказать венчать себя повелителем всего мира. В своем разочаровании он так страшно опустошил бедный город Лукку, как опустошил бы Рим, если бы нашел его. Он долго искал его. И он умер — никто не знал, как и где — под ударами случайного мстителя, при осквернении церкви или ограблении какого-нибудь птичника, быть может, в городском рву, а, может быть, невидимо вознесенный к Азам, священным предкам рода Асси.

Так же, как эти пятеро, прошли свой земной путь все Асси. Все они были людьми раздвоения, мечтательности, разбоя и горячей внезапной любви. Их укрепленные замки стояли во Франции, в Италии, в Сицилии и Далмации. Повсюду слабый, мягкий и трусливый народ испытывал на себе их смеющуюся жестокость и суровое, холодное презрение. С равными себе они были готовы на жертву, почтительны, деликатны и благодарны. Они были бесцеремонными искателями приключений, как сластолюбец Пьерлуиджи, гордыми и жаждущими величия, подобно кондотьеру Сансоне, запятнанными кровью мечтателями, как крестоносцы Пои и Готье, и свободными и неуязвимыми, как язычник Бьерн Иернсиде.

\* \* \*

Полчищу мужчин и женщин, носивших в течение тысячи лет имя Асси, наследовало всего трое потомков: герцог и его младший брат, граф, с маленькой дочерью Виолантой. Девочка знала о своем отце только то, что он живет где-то на свете. Бедный граф был мотом; он расточал остатки своего состояния, совершенно не думая о будущем молодой девушки. Он заставлял и ее принимать участие в своей расточительности; одинокий ребенок рос в безграничной княжеской роскоши; это успокаивало его совесть. К тому же он рассчитывал на родственные чувства неженатого герцога.

Виоланта видела отца только раз в году. Матери она никогда не знала, но он всегда привозил с собой «маму», каждый раз другую. За несколько лет, мимо девочки прошел целый ряд их: белокурые и темноволосые мамы, худые и очень толстые; мамы, которые в течение двух секунд рассматривали ее в лорнет и проходили дальше, и другие, которые вначале казались почти робкими, а к концу своего пребывания становились чуть ли не подругами ее игр.

Девочка привыкла относиться к мамам с легкой насмешкой. Зачем папа привозит их сюда? Она размышляла:

— Я не хотела бы ни одну из них иметь сестрой. И камеристкой тоже, — прибавляла она.

В тринадцать лет она осведомилась: — Папа, почему ты привозишь всегда только одну?

Граф рассмеялся; он спросил: — Помнишь цветные стекла?

У прошлогодней мамы была страсть всюду вставлять цветные стекла. Она должна была видеть море розовым, а небо желтым.

— Это была добрая особа, — сказала Виоланта.

Вдруг она выпрямилась, как-будто проглотила аршин, сделала несколько шагов, еле двигаясь от важности, и, комично растопырив пальцы, поднесла к губам кружевной платок.

— Это было три года тому назад. Та церемонная, помнишь?

Граф Асси корчился от смеха. Он смеялся вместе с девочкой над мамами, но только над прежними, над настоящей никогда. Он не забывал спросить, довольна ли малютка слугами.

— Самое худшее, — подчеркивал он, — было бы если бы кто-нибудь из них отнесся к тебе непочтительно. Я жестоко наказал бы его.

Он торжественно поднимал брови.

— Если бы это было необходимо, я велел бы отрубить ему голову.

Его намерением было внушить девочке возможно большее почтение к собственной особе, и это удалось ему. Виоланта даже не презирала; ей никогда не приходило в голову, что, кроме нее, может существовать что-нибудь достойное упоминания. Какой стране принадлежала она? К какому народу? К какому классу? Где была ее семья? Где была ее любовь, и где бьющееся в такт с ее сердцем сердце? Она не могла бы ответить ни на один из этих вопросов. Ее естественным убеждением было, что она — единственная, недоступная остальному человечеству и неспособная приблизиться к нему. Говорили, что за пределами ее замка хозяйничают турки. Асси больше не было. Не стоило выглядывать из-за решеток запертого сада, а котором она жила. В ее детском мозгу царила рассудительная покорность. Ко всему таинственному, ко всему, что было скрыто, она относилась с равнодушной иронией: к мамам, являвшимся неизвестно откуда и неизвестно для чего, а также к тому, кого ее гувернантка называла богом. Гувернантка была эмигрантка-немка, предпочитавшая уходить из дому с каким-нибудь красивым лакеем, чем рассказывать библейские истории. Виоланта шла к старику французу, сидевшему среди книг в одной из комнат башни. На нем был вольтеровский колпак и пестрый халат, весь испачканный нюхательным табаком, Essai sur les moeurs он клал в основу миросозерцания Виоланты.

«Католическая религия несомненно божественна, так как, несмотря на всю ее иррациональность, в нее верило столько людей», — так гласила апология христианства monsieur Анри. О важных вопросах, как воскресение, он высказывался не прямо, а с некоторой сдержанностью.

— Чтобы избавить себя от лишних слов, — говорил он, — иногда приходилось снисходить до одобрения народных предрассудков. Так, например, сказано: «Зерно должно сгнить в земле, чтобы созреть. — И далее: — Неразумные, разве вы не знаете, что зерно должно умереть, чтобы снова ожить?» Теперь отлично знают, что зерно в земле не гниет и не умирает, чтобы потом воскреснуть; если бы оно сгнило, оно, наверное, не воскресло бы.

После этих слов monsieur Анри делал паузу, поджимал губы и проницательно смотрел на свою ученицу.

— Но тогда, — прибавлял он с деловитым спокойствием, — люди находились в этом заблуждении.

В таких разговорах складывались религиозные воззрения Виоланты.

— Страна опустошена турками? — спрашивала она.

— Так говорит народ. Это ошибочное мнение можно найти в так называемых народных песнях, глупых и неискусных изделиях... Хотите знать, кто опустошил ее? Глупость, суеверие и косность, духовные турки и неумолимые враги человеческого прогресса.

— Но когда Пьерлуиджи Асси был далматским наместником, тогда все было иначе. А Венецианская республика тоже исчезла? Кто уничтожил ее?

Старый француз тыкал пальцем в грудь:

— Мы.

— А!

Она поворачивалась к нему.

— В таком случае вы сделали нечто совершенно лишнее. А вы тоже были при этом, monsieur Анри?

— Шестьдесят восемь лет тому назад. Я был тогда крепким малым.

— Этому я не верю.

— Вы и не должны верить. Из всего, что вам говорят, вы должны верить самое большее половине, да и то не совсем.

Эти учения дополняли представление Виоланты о мировом порядке.

Все знания, едва усвоенные ею, уже опять ставились под сомнение. Она находила совершенно естественным не верить никаким фактам, она верила только грезам. Когда в голубые дни она переправлялась в свой сад, солнце ехало с нею, точно золотой всадник. Он сидел на дельфине, который переносил его с волны на волну. И он причаливал вместе с ней, и она играла со своим другом. Они ловили друг друга. Он взбирался на шелковичное дерево или на сосну; его шаги оставляли всюду желтые следы. Потом он становился пастухом, его звали Дафнис. Она была Хлоя. Она плела венок из фиалок и венчала его им. Он был наг. Он играл на флейте, соревнуя с пиниями, шелестевшими на ветре. Флейта пела слаще соловья. Они вместе купались в ручье, бежавшем по лугу, между коврами нарциссов и маргариток. Они целовали цветы, как это делали пчелы, жужжавшие в теплой траве. Они смотрели, как прыгали ягнята на холме, и прыгали точно так же. Оба были опьянены весной, — Виоланта и ее светлый товарищ.

Наконец, он прощался. Следы его ног лежали на дорожках, как летучее золото; оно сейчас же расплывалось. Она кричала: — До завтра! — За павильоном Пьерлуиджи звенел смех: — До завтра!.. И он исчезал. Она, усталая и притихшая, ложилась в дрок на склоне холма и смотрела на свое озеро. Стрекоза с широкой, покрытой волосками спинкой, вся голубоватая, недвижно стояла перед ней в воздухе. Желтые цветы клонили головки. Она оборачивалась, на камне сидела ящерица и смотрела на нее острыми глазками. Девочка опускала голову на руки, и они долго дружески смотрели друг на друга — последняя, хрупкая дочь сказочных королей-богатырей и слабая маленькая родственница допотопных чудовищ.

II

Однажды летом — ей шел шестнадцатый год — она, еще полусонная, подбежала к окну павильона Пьерлуиджи. Во сне она слышала отвратительный визг, как будто кричала большая, безобразная птица. Но ужасный шум не прекращался и наяву. В озере, в ее бедном озере, лежала огромная женщина. Ее груди плавали по воде, как чудовищные горы жира, она подымала в воздух ноги, похожие на колонны, тяжеловесными руками взбивала пену, и все это сопровождала криком из широко раскрытого, черного, обращенного кверху рта. У берега носился сломанный тростник; зеленые дворцы, в которых жили рыбки, были разрушены; их жители испуганно шныряли взад и вперед, стрекозы улетели. Женщина внесла опустошение и страх до самой помутневшей глубины.

Виоланта со слезами в голосе крикнула:

— Кто вам позволил пачкать мое озеро! Какая вы противная!

На берегу кто-то рассмеялся. Она заметила отца.

— Продолжай, продолжай, — сказал он, — она не понимает по-французски.

— Какая вы противная!

— По-итальянски и по-немецки мама тоже не понимает.

— Это, наверное, какая-нибудь дикарка.

— Будь умницей и поздоровайся с отцом.

Молодая девушка повиновалась.

— Маме захотелось выкупаться, — объяснил граф, — она необыкновенно чистоплотна, она голландка. Я теперь из Голландии, милочка, и если ты будешь слушаться своего отца, он возьмет тебя когда-нибудь туда.

Она с негодованием воспротивилась:

— В страну, где есть такие... такие... дамы? Никогда!

— Раз-на-всегда?

Он дружески взял ее за руку. Голландка вышла на берег; она кое-как оделась и подошла пыхтя, с волнующейся грудью и нежным выражением лица.

— О, милое дитя! — воскликнула она. — Можно мне поцеловать ее?

Виоланта догадалась, что она хотела сделать. От внезапного отвращения у нее захватило дыхание; она вырвалась и в чисто-детском страхе бросилась бежать.

— Что с малюткой? — испуганно спросила иностранка. — Ей стыдно?

Виоланте не было стыдно. Появление рядом с ее отцом голой женщины нисколько не оскорбляло ее достоинства. Но неуклюжая безобразная масса этого женского тела пробудила в ней девичью гордость, для преодоления которой были бы напрасны усилия целой жизни.

— Как она смеет показываться мне! — стонала она, запершись в своей комнате. Она оставила ее только после отъезда графа Асси; озера она избегала: оно было осквернено и потеряно для нее. Она пыталась мысленно следовать за полетом бабочки по тихой поверхности и представлять себе, как погружалась в зеркальную глубину синева неба, — в это мгновение в нее шлепалось что-то грубое, красновато-белое: изрезано было голубое зеркало, и прочь улетал мотылек.

\* \* \*

Она тосковала в тиши и оставалась стойкой в течение полугода. Затем она успокоилась, милые места ее детской жизни тревожили ее еще только во сне. Однажды ночью у ее постели очутился Пьерлуиджи Асси со своей возлюбленной. Дама сделала плутовскую гримаску, черная мушка упорхнула в белую ямочку. Он с грациозным поклоном приглашал Виоланту пойти с ними. Она проснулась: рядом с белым лунным светом ложились голубые тени, в соседней комнате постель гувернантки была пуста. Она с улыбкой заснула опять.

На следующий день в ее комнату вошел мужчина.

— Папа?

Она была почти испугана, она ждала его только через несколько месяцев.

— Это не папа, милая Виоланта, это ваш дядя.

— А папа?

— С папою, к сожалению, случилось несчастье, — о, пустяки.

Она смотрела на него с ожиданием, без страха.

— Он послал меня к вам. Он уже давно просил меня заняться вами, в случае, если он больше не будет в состоянии сделать это сам.

— Не в состоянии больше? — переспросила она печально, без волнения.

— Он... скончался?

— ...умер.

Она опустила голову, думая о последней безрадостной встрече. Она не выказала горя.

Герцог поцеловал ей руку, успокаивал и в то же время разглядывал ее. Она была стройна, члены ее были тонки и гибки, у нее были тяжелые черные волосы юга, где вырос ее род, и голубовато-серые, как северное море ее предка, глаза. Старый знаток размышлял: «Она — настоящая Асси. В ней есть холодная сила, которая была у нас, и остатки того сицилийского огня, который также был у нас».

Несмотря на свой преклонный возраст, он был еще очень хорошим ездоком, но старался скрывать это, катаясь с неопытной молодой девушкой. Они мчались вдоль берега, по жесткому песку и по воде. Раковины и куски морских звезд разлетались под копытами.

— Я сделался веселым малым, — вздыхал про себя герцог. — Но нельзя же отстать от нее. Если бы я дал волю своему искусству, я заставил бы малютку смотреть на меня снизу вверх. А к этому она, как мне кажется, не склонна от рождения.

Только однажды, когда ее шляпу снесло в море, и Виоланта скомандовала: «В воду», он воспротивился.

— Насморк... в мои годы...

Она вскочила в воду, скорчившись на спине плававшего коня, как обезьянка. Вернувшись, она показала свой мокрый шлейф.

— Вот и все. Почему вы не могли сделать этого?

— Потому что мне далеко до вас, милая малютка.

Она счастливо засмеялась.

Он терпеливо ждал, пока ему не показалось, что жизнь вдвоем превратилась для нее в привычку. Тогда он сказал:

— Знаете, я здесь уже пять недель. Я должен опять навестить своих друзей.

— Где же это?

— В Париже, в Вене, везде.

— А!

— Вам жаль, Виоланта?

— Ну...

— Вы можете поехать со мною, если хотите.

— Хочу ли я? — спросила она себя. — Если бы озеро было таким, как прежде, мне незачем было бы уезжать, но теперь...

Она вспомнила о ночном посещении Пьерлуиджи, о его молящем жесте и милой улыбке его дамы.

— Неужели я должна покинуть вас? — подумала она вслух, становясь глубоко серьезной.

— В качестве моей жены? — спокойно добавил герцог.

— Вашей... Почему же?

— Потому что это самое простое.

— Ну, тогда...

Она вдруг начала смеяться. Предложение было принято.

\* \* \*

Зиму траурного года они провели в Каннах, в строгом уединении. Вилла, в которой они поселились, выглядывала из-за увитых лавром стен и густой изгороди из роз, вызывая в прохожих представление о тишине и забвении. Герцогиня скучала и писала письма monsieur Анри.

Летом они объездили Германию и в конце сентября встретились в Биаррице с парижскими друзьями герцога. Ко времени приезда в Париж Виоланта была уже в самых близких отношениях с княгиней Урусовой и графиней Пурталес. Паулина Меттерних, относившаяся к ней как к младшей сестре, была посредницей при ее знакомстве с Веной. Был 1867 г. Для некоторых членов этого общества из Парижа в Вену шла прямая увеселительная аллея. Все то, что лежало по пути направо и налево, было деревнями, пригодными только для того, чтобы менять лошадей. Общенародный способ передвижения находился в пренебрежении; граф д'Осмонд и герцогиня Асси с супругом выехали из Парижа двумя четвернями и въехали во двор отеля «Эрцгерцог Карл». Виоланта приняла приглашение графини Клам-Галлас в ее ложу в придворном венском театре; она села в свою карету в Париже, чтобы заглянуть в Вене в телескоп женщины-астронома Терезы Герберштейн.

Непосредственность ее поведения, отсутствие низменного тщеславия в ее непритворном высокомерии вызывали восхищение: они восхищали прежде всего самого герцога. Ему было шестьдесят шесть лет, и уже шесть лет он в угоду своему здоровью смотрел на женщин, только как на блестящие и сложные украшения. Теперь он ближе других мог любоваться прекрасным, свободным созданием, для которого в атмосфере желаний, темных сплетен, робких интриг и тайных вожделений все оставалось ясным и светлым, которое нигде не подозревало пропастей и опасностей. Он испытывал своеобразное наслаждение, видя, как среди изнуренной толпы титулованных искателей счастья, преждевременно состарившихся в утомительных удовольствиях, она идет спокойными, уверенными детскими шагами. Разбудить ее дряхлой утонченности старца казалось безумным преступлением. К тому же он говорил себе, что было бы глупо открыть ей радости, продолжения которых она по необходимости должна была бы искать у других.

Он не открыл ей их. Ей рассказали, что маркиза де Шатиньи не может ждать детей от своего мужа.

— Откуда это известно? — спросила Виоланта.

— От mademoiselle Зизи.

— Ах, от этой оперной?

— Да.

Она хотела спросить, откуда же mademoiselle Зизи может знать это, но почувствовала, что этот вопрос не принадлежит к тем, которые можно делать вслух.

Стройная графиня д'Ольней явилась однажды вечером в австрийское посольство с огромным животом; это была одиночная попытка ввести опять моду на беременность, существовавшую в пятидесятых годах. Герцогине это показалось очень забавным; последовало несколько дней задумчивости, по прошествии которых она объявила герцогу, что чувствует себя матерью. Он был, казалось, весело поражен и пригласил доктора Барбассона. Врач исследовал ее нежной рукой, делавшей из клиенток возлюбленных. Она напряженно смотрела на него: он вовремя подавил улыбку и объявил, что ей нечего бояться и не на что надеяться.

Она каталась по Булонскому лесу и по Пратеру с все новыми поклонниками, и, не зная ничего о конечных целях поклонения, держала всех в напряжении с ловкостью лунатика. Граф Пауль Папини получил из-за нее пулю от барона Леопольда Тауна и лежал еще на смертном одре, когда Рафаэль Риго застрелился перед ее только что оконченным портретом. Для нее все это были непонятные глупости, и она высказывала это без всякого сострадания, с таким спокойным видом, что у самых легкомысленных повес пробегал по спине холодок. Ее начали бояться. Ей же доставлял живейшее удовольствие какой-нибудь новый сорт мороженого или снег, падавший на меховой воротник ее кучера более густыми хлопьями, чем обыкновенно. С большим участием, чем ко всем своим поклонникам, она относилась к лорду Эппому, старому джентльмену, который круглый год носил белые панталоны и красную гвоздику. Он приезжал к ней в потертой одноколке, и ее смешило до слез, что ему приходилось преодолевать подозрительное сопротивление слуг, чтобы проникнуть к ней и положить к ее ногам ценный подарок. Она навестила его и вошла в его спальню: он спал в гробу. Он галантно преподнес ей одно из заранее напечатанных приглашений на похороны и сыграл в честь ее на шарманке собственноручно написанный похоронный марш.

Она стала законодательницей мод. Костюм вакханки, который был на ней в 1870 году на балу в Опере, сделал ее знаменитостью. Разносчики на бульварах продавали карикатуры на нее, в витринах красовались огромные фотографии герцогини Асси. Во время одного празднества в Тюильри император долго не сводил с нее своих тусклых глаз, с трудом подавляя светившееся в них желание.

Война с Германией заставила ее остановиться среди танца, так как музыка резко оборвалась. Сладострастно откинув убаюканные мелодией головы, танцующие дамы прислушивались к раскатам отдаленного грома, и улыбка медленно исчезала с их уст.

\* \* \*

Герцог сейчас же увез ее. На следующее утро по приезде в Вену его нашли в постели мертвым. Она продолжала путешествие в сопровождении трупа и похоронила его в склепе Асси в Заре, на торжественном кладбище, навстречу которому с мрачной пышностью движется шествие кипарисов. Затем она заперлась в своем дворце. Общество далматской столицы стучалось в ее двери, но герцогиня строго соблюдала траур.

Она чувствовала себя выбитой из колеи и более удивленной, чем испуганной, случившимся. В первый раз она испытывала тревожное ощущение чего-то неведомого, что подстерегало ее и к чему нельзя было отнестись совершенно легко. Она думала, что провела протекшие годы там, где пульс жизни бьется сильнее всего; теперь у нее было чувство, будто бальная музыка и пустой смех заглушали все, что было бы важно услышать. И во внезапно наступившей тишине она начала прислушиваться.

«Теперь я одна. Что же, что же теперь надо понять?»

На Пиацца делла Колонна в Заре понимать, очевидно, было нечего. Она стала опять скучать, от чего отвыкла со времен Канн и, подобно остальным женщинам, часами смотрела из-за запертых ставней на сонную, залитую солнцем мостовую. Иногда мимо проходили придворные; ей казалось, что во время своего кратковременного пребывания здесь с герцогом она видела их. Король проезжал в коляске с Беатой Шнакен; герцогиня, одна в своих пустых залах, смеялась над забавными историями, которые пересказывались во всех столицах.

Взаимная вражда туземных племен помешала далматам избрать монарха из своей среды. Державы, утомленные не прекращавшимся при прежних правительствах расовыми и гражданскими войнами, обратили выбор далматского народа на Николая, одного из еще незанятых Кобургов. Чтобы предложить ему корону, пришлось проникнуть в уединенный охотничий домик, где он жил в кухне с загонщиками и собаками. Это был непритязательный, бородатый старик, в шубе, шапке и с короткой трубкой во рту, расхаживавший по лесам, как святой Николай. Переселение в качестве монарха в далекое государство, о положении которого он не имел никаких достоверных сведений, было старику нелегко, но он вспомнил об обязанностях, налагаемых на него его происхождением. Говорили, что при отъезде союзный канцлер сказал ему: — Поезжайте с богом и постарайтесь, чтобы мы больше ничего не слышали о вашей стране.

Николай старался. Он правил тихо и скромно. И если за все это время не было случая убедиться, умен ли он, хитер ли, деспотичен, коварен или благороден, то зато очень скоро стало ясно одно: он почтенен. Его народы, желавшие друг другу нищеты и окончательного уничтожения, объединялись в умиленной любви к своему седому королю. Николай был образцовым семьянином. Глубокая, несомненная благопристойность окутывала всех, кто был близок к нему, точно плащом, под складками которого исчезали их несовершенства. Никто не возмущался наследником престола, юным Филиппом, который с тех пор, как закончил в венском Терезиануме свое воспитание, вел себя, как шут; а прекрасная подруга короля встречала всюду благожелательность и уважение.

Беата Шнакен была маленькая актриса; судьба занесла ее из Вены в Зару, где она не находила никого, кто хотел бы заплатить ей долги. В своем горе она однажды, в пять часов утра, тихонько вышла из дому и пошла молиться в церковь иезуитов. Взяв на себя управление католическим народом, Николай Кобургский сейчас же с религиозным пылом бросился со всей своей семьей в объятия римской церкви. В исполнении своих религиозных обязанностей он также служил примером для своих подданных; в холод предутренних часов совершал старый монарх свою молитву в храме отцов иезуитов. Это обстоятельство было известно Беате. Она сложила руки и сидела, не шевелясь. Король увидел в углу что-то черное, но не обратил на это внимания. На следующее утро он заметил, что под черной вуалью, свешивавшейся с молитвенной скамьи, в облаке ладана выделялся бледный профиль. На третий, на четвертый и пятый дни ему бросалась в глаза все та же картина; старик не мог удержаться от сердечного умиления, и счастье Беаты Шнакен было обеспечено.

Кроме определенного содержания, она получила приличное поместье. Николай посещал ее каждый вечер. Тайные агенты подслушивали у дверей, но редко можно было услышать что-нибудь о политике, и никогда — что-нибудь неприличное. В коляске Беата Шнакен сидела всегда рядом со своим царственным другом, белая и розовая, пряча обозначавшийся двойной подбородок в черный кружевной воротник. Граф Биттерман, друг юности Николая, на коленях просил ее обвенчаться с ним; с графиней Биттерман король может быть в близких отношениях. Но Беата отклонила предложение верного слуги династии Кобургов; она находила, что не нуждается в том спасении ее чести, которого он желал. И в самом деле, никто не требовал этого от нее. Даже королева открыла Беате свое сердце; по этому поводу рассказывались трогательные истории.

Беата вела себя в своем щекотливом положении с величайшей ловкостью, ничем не давая повода вспомнить о прежних фазах своей жизни. Время от времени она брала кратковременный отпуск для свидания в Ницце с каким-нибудь венским евреем, торговцем лошадьми, или же ездила по ту сторону Черных Гор повидаться с коллегой по придворному театру. Затем она возвращалась, рассудительная, спокойная, полная тихого достоинства; внутри страны не происходило никогда ничего.

Герцогиня заглядывала даже иногда в газеты, чтобы почитать о поступках и позах этих господ. Кто сказал бы ей в Париже, пять месяцев тому назад, что она будет прибегать к таким средствам, чтобы убить время!

Однажды, принц Фили проезжал через площадь. Герцогиня легко и небрежно стояла на монументальном балконе своего первого этажа и смотрела вниз, вдоль длинных колонн, у подножия которых два грифа охраняли портал. Слева ехал элегантный всадник, справа господин в военном мундире, в средине же маленький человечек, который горбился, бросал по сторонам блуждающие взгляды и беспрестанно теребил маленькими бледными руками редкие черные волосы, пробивавшиеся на щеках. Герцогиня хотела уйти; Фили уже увидел ее. Он вскинул кверху руки, лицо его просияло и порозовело. Он хотел остановиться. Элегантный спутник услужливо придержал свою лошадь, но гигант-воин грубо дернул поводья лошади принца. Фили втянул голову в плечи и, не протестуя, поехал дальше. Его жалкая спина исчезла за углом.

\* \* \*

Это было в декабре. Она переезжала бухту. Светлый, изящный город, расположенный с прелестью, свойственной городам Италии, остался позади; напротив, под тяжелым грозовым небом лежала серая каменная пустыня с разваливающимися хижинами. Это зрелище, оскорблявшее ее, зажгло в ней в то же время смутную потребность на что-то отважиться, действовать, померяться силами. Она велела подать себе весла и храбро погрузила их в шумные волны, швырявшие лодку. Она видела свое бессилие и боролась из упрямства. В это время она заметила на берегу несколько человек; они широко открывали рты и дико размахивали руками. Казалось, они были рассержены; какой-то старик с взъерошенной седой бородой грозил ей кулаками, прыгая с ноги на ногу.

— Что с ними? — спросила она лодочника.

Он молчал. Егерь нерешительно объяснил:

— Им не нравится, что ваша светлость желаете грести.

— А!

Какое им до этого дело? Должно быть, эта странная ревность — одна из особенностей этого народа. Она вспомнила тех непонятных людей, которые в детстве считали ее ведьмой. У этого народа множество причуд. В так называемых народных песнях он поет о турецких войнах, которых никогда не было.

Она положила весла; лодку прибило к берегу. Она вышла. Старик еще раз взвизгнул и боязливо ускользнул. Она посмотрела в лорнет на молодых парней, стоявших перед ней.

— Вы меня очень ненавидите? — с любопытством спросила она.

— Проспер, почему они не отвечают?

Егерь повторил вопрос на их языке. Наконец, один из них голосом, еще хриплым от проклятий, сказал:

— Мы любим тебя, матушка. Дай нам денег на водку.

— Проспер, спроси их, кто такой старик.

— Наш отец.

— Вы пьете много водки?

— Редко. Когда у нас есть деньги.

— Я дам вам денег. Но половину отдайте отцу.

— Да, матушка. Все, что ты прикажешь.

— Проспер, дайте им...

Она хотела сказать: двадцать франков, но подумала, что они перепьются до смерти.

— Пять франков.

— Половину отцу, — повторила она, быстро садясь в лодку.

— Если я буду смотреть, они, конечно, дадут ему, — думала она. — Но если не смотреть?

Она была заинтересована, хотя и говорила себе, что совершенно безразлично, как поведет себя из-за пяти франков какая-нибудь грязная семья.

На следующий день она хотела послать туда Проспера, но он доложил ей, что пришел старик. Она велела ввести его; он поцеловал край ее платья.

— Твой раб целует край твоего платья, матушка, ты подарила ему франк, — сказал он, испытующе глядя на нее. Она улыбнулась. Он не доверял парням и был прав. Ведь он должен был получить два с половиной франка. Но они все-таки дали ему хоть что-нибудь.

— Ждала ли я этого?

Ей стало весело, и она сказала:

— Хорошо, старик, завтра я приеду опять на ваш берег.

\* \* \*

На следующий день небо было синее. Она была уже одета для выхода, когда за дверью раздались громкие голоса. Принц Фили, спотыкаясь, перешагнул порог, отстранив пятерых лакеев.

— Перед другом вашего супруга, покойного герцога, — взволнованно воскликнул он, — герцогиня, не закроете же вы двери перед близким другом герцога. Мое почтение, герцогиня.

— Ваше высочество, я не принимаю никого.

— Но близкого друга... Мы так любили друг друга. А как поживает милая княгиня Паулина? Ах, да, Париж... А добрая леди Олимпия? Славная бабенка.

Герцогиня рассмеялась. Леди Олимпия Рэгг была раза в два выше и толще принца Фили.

— А она все еще в Париже, — Олимпия? Наверное, уже опять в Аравии или на северном полюсе. Удивительно милая, необычайно доступная женщина. Это не стоило мне никакого труда, — игриво сказал он. — Ни малейшего. Вот видите, вы уже повеселели.

— Ваше высочество, вам противостоять трудно.

— Конечно, не горевать нельзя, но не настолько. Я ведь тоже ношу траур. Смотрите.

Он показал на креп на своем рукаве.

— Ведь герцог был моим закадычным другом. В последний раз, когда я его видел, — знаете, в Париже, — он так трогательно уговаривал меня образумиться, так трогательно, говорю я вам. «Фили, — сказал он, — умеренность в наслаждении вином и женщинами». Он был более, чем прав, но разве я могу послушаться его?

— Ваше высочество, несомненно, можете, если захотите.

— Это принадлежит к числу ваших предрассудков. Когда мне было восемнадцать лет, гофмейстер доставлял мне портвейн; он собственноручно крал его для меня с королевского стола. Теперь мне двадцать два, и я пью уже только коньяк. Пожалуйста, не пугайтесь, герцогиня, я развожу его шампанским. Полный стакан: половина — коньяк, половина — шампанское. Вы думаете, это вредно?

— Право, не знаю.

— Мой врач говорит, что совершенно не вредно.

— Тогда вы это можете делать.

— Вы серьезно так думаете?

— Но зачем вы пьете? У наследника престола есть столько других занятий.

— Это принадлежит к числу ваших предрассудков. Я неудовлетворен, как все наследники престола. Вспомните дон Карлоса. Я хотел бы быть полезным, а меня осуждают на бездеятельность, я честолюбив, а все лавры отнимаются у меня перед самым носом.

Он вскочил и, согнувшись, забегал по комнате. Его руки были все время в воздухе, как крылья, кисти их болтались на высоте груди.

— Бедняжка, — сказала герцогиня, глядя на часы.

— Придворные лизоблюды возбуждают в короле, моем отце, подозрения против меня, утверждая, что я не могу дождаться вступления на престол.

— Но ведь вы можете?

— Боже мой, я желаю королю долгой жизни. Но мне хотелось бы тоже жить, а этого не хотят.

Он подкрался к ней на цыпочках и с напряжением шепнул у самого ее лица:

— Хотите знать, кто этого не хочет?

Она закашлялась; ее обдало сильным запахом алкоголя.

— Ну?

— Ие-зу-иты!

— А!

— Я слишком просвещен для них, поэтому они губят меня. Но кто в теперешнее время набожен? Умные притворяются; я для этого слишком горд. Разве вы, герцогиня, верите в воскресение мертвых или в деву Марию, или вообще во все небесное царство? Что касается меня, то я перерос все это.

— Я никогда не интересовалась этим.

— Предрассудков у меня нет никаких, говорю я вам. Церковь боится меня, поэтому она губит меня.

— Как же она это делает?

— Она поощряет мои порски. Она подкупает окружающих меня, чтобы мне давали пить. Если я встречаю где-нибудь красивую женщину, то это подсунули ее мне монахи. Я не уверен даже, герцогиня, что вы... вы сами... может быть, вы все-таки набожны?

Он искоса поглядел на нее. Она не поняла.

— Почему вы стояли на днях на балконе как раз в то время, когда я проезжал?

— Ах, вы думаете?

Он колебался, затем тоже рассмеялся. Потом доверчиво придвинулся поближе к ней.

— Я боялся только, потому что вы так необыкновенно хороши. Фили, сказал я себе, здесь ловушка. Иди мимо. Но вы видите, я не прошел мимо: я сижу здесь.

Он подошел ближе: его болтающиеся ручки уже гладили кружева на ее груди. Она встала.

— Ведь вы не прогоняете меня, а? — пролепетал он, взволнованный и недовольный.

— Ваше высочество, вы позволите мне уйти?

— Почему же? Послушайте, герцогиня, будьте милой.

Он мелкими шажками бегал за ней, от стула к стулу, смиренный и терпеливый.

— Но этот старый хлам Empire вы должны выбросить и поставить что-нибудь мягкое, чтобы можно было уютно поболтать и погреться. Тогда я буду приходить к вам каждый день. Вы не поверите, как мне холодно дома, у моей жены. Должны же были привезти мне жену из Швеции, которая начинает проповедывать, как только завидит меня. Quelle scie, madame! Шведская пила-рыба: каламбур моего собственного изобретения. И к тому же еще французский! Ах, Париж!

Он говорил все медленнее, боязливо прислушиваясь. Портьера поднялась, на пороге появился элегантный спутник принца. Он низко поклонился герцогине и Фили и сказал:

— Ваше высочество, позвольте мне напомнить, что его величество ждет ваше высочество в одиннадцать часов к завтраку.

Он опять поклонился. Фили пробормотал: — Сейчас, мой милый Перкосини. — Дверь затворилась.

Принц вдруг оживился.

— Вы видели этого негодяя? Это барон Перкосини, итальянец. Негодяй, он на службе у ие-зу-итов. Он ждал, пока я здесь у вас хорошенько освоился. Теперь он уводит меня в самый прекрасный момент, когда я начинаю надеяться. Я должен сойти с ума, иезуиты заплатят за это. Скажите, дорогая, герцогиня, можно мне завтра прийти опять?

— Невозможно, ваше высочество.

— Пожалуйста, пожалуйста.

Он молил со слезами в голосе.

— Вы слишком прекрасны, я не могу иначе.

Затем он опять принялся болтать.

— Майор фон Гиннерих, мой адъютант, о, это совсем другое дело. Это честный человек. Действительно, честный человек, он удерживает меня от всяких удовольствий. От всяких решительно. Вы видели тогда, как он дернул мои поводья? Это верный слуга моего дома. Будьте милой, герцогиня, навестите мою жену, приходите в наш cercle intime. Я должен видеть вас, я не могу иначе. Вы придете, а? Принцессе вы доставите такую радость, она не перестает говорить о вас. Вы придете, а?

Она нетерпеливо повернулась к двери.

— Приду.

Портьера опять зашуршала. Фили вдруг заговорил с милостивой любезностью.

— Мой милый Перкосини, я к вашим услугам. Мое почтение, герцогиня, и до свидания в cercle intime.

\* \* \*

Герцогиня отправилась пешком в гавань. Свежий северный ветер носился над фиолетовым морем. Пристав к противоположному берегу, она увидела пеструю кучку народа, которая, казалось, ждала ее. Впереди всех под ярко-голубым небом сверкала медно-красная, красивая борода статного, изящно одетого господина. Серая шляпа с полями была единственной немодной частью его костюма. Он поклонился: в то же мгновение мужчины, женщины и дети закричали хором, точно что-то заученное:

— Это Павиц, наш спаситель, наш батюшка, наш хлеб и наша надежда!

Герцогиня велела перевести себе, что это значит. Затем она посмотрела на господина; она слышала о нем. Он представился:

— Доктор Павиц.

— Я пришел, ваша светлость, поблагодарить вас. Но вы получили благодарность заранее. Вы знаете: то, что вы делаете одному из моих меньших братьев, вы делаете мне.

Она не поняла его, она подумала: — Мне? Кому же это? Ведь я вообще не хотела ничего никому делать. — Так как она ничего не ответила, он прибавил:

— Я говорю с вами, ваша светлость, от имени этого незрелого народа, очеловечению которого я посвятил всю свою жизнь. Всю свою жизнь, — повторил он тоном самопожертвования.

Она осведомилась:

— Что это за люди? Я хотела бы знать что-нибудь о них.

— Этот бедный народ очень любит меня. Вы замечаете, ваша светлость, каким плотным кольцом окружают меня.

Она это заметила: от них дурно пахло.

— А! Меня окружает изрядное количество романтики!

Он простер вперед руки и откинул назад голову, так что красивая, широкая борода поднялась кверху наподобие лопаты. Она не совсем поняла, что должен был означать этот жест.

— Если бы вы знали, ваша светлость, как это сладко: среди бушующей ненависти целого мира опираться на скалу любви.

Она напомнила:

— А народ, народ?

— Он беден и незрел, поэтому я люблю его, поэтому я отдаю ему свои дни и ночи. Объятия народа, поверьте мне, ваша светлость, горячее и мягче объятий возлюбленной. Они дают больше счастья. Я иногда отрываюсь от них для долгих, одиноких странствований по моей печальной стране, — закончил он тише и торжественнее.

Его решительно нельзя было отвлечь от своей собственной личности. Она открыла рот для насмешливого ответа, но его голос, этот изумительный голос, внушавший страх королю и его правительству, победил ее сопротивление. В его голосе, как великолепная конфета, таяла любовь, любовь к его народу. Аромат, приторный и одуряющий, исходил от самых пустых его слов; этот аромат был неприятен ей, но он действовал на нее.

Отойдя несколько шагов от берега, она сказала:

— Вы трибун? Вас даже боятся?

— Меня боятся. О, да, я думаю, что те важные господа, которые ворвались в мой дом, когда я публично заклеймил по заслугам бесстыдные, порочные нравы наследника престола, боятся меня.

— Ах, как же это было? — спросила она, падкая на истории.

Он остановился.

— Им должны были перевязать головы в ближайшей аптеке. Полиция избегала вмешиваться, — холодно сказал он и пошел дальше.

Он дал ей десять секунд на размышление; затем опять остановился.

— Но тому, у кого совесть чиста, нечего меня бояться. Никто не знает, как я мягок, какая доля моего гнева происходит от слишком нежной души, и как благодарен и верен я был бы тому могущественному человеку, который поднял бы свою руку на защиту моего дела.

— А ваше дело?

— Мой народ, — сказал Павиц и пошел дальше.

Они шли по острым булыжникам. На жалкой ниве стояли согнутые фигуры: они непрерывно, все одними и теми же движениями, выбрасывали на дорогу камни. Дорога была полна ими, а поле не пустело. Один крестьянин сказал:

— Так мы бросаем круглый год. Бог знает, где дьявол берет все эти камни.

— Таков и мой жребий, — тотчас же подхватил Павиц. — Из года в год я выбрасываю из нивы моего отечества несправедливость и преступления, совершаемые над моим народом, — но бог знает, откуда дьявол берет все новые камни.

Зазияло отверстие землянки. Чтобы уйти от напиравшего народа, герцогиня ступила на порог. В углах, на утоптанном желтом земляном полу возвышались огромные глиняные кувшины. Во мраке носился запах горящего масла. Перед дымящим костром из сырого хвороста мерзли три человека в коричневых плащах. Один из них вскочил и подошел к гостям с глиняным сосудом в руке. Герцогиня поспешно отступила, но трибун взял чашу с вином.

— Это сок моей родной земли, — нежно сказал он и выпил. — Это кровь от моей крови.

Он попросил кусок маисового хлеба, разломил его и поделился с окружающими. Герцогиня следила за большой морской птицей, с криком летавшей во мраке пещеры. На столе лежал, свернувшись клубком, маленький уж.

— Вероятно, теперь я уже видела все, — сказала герцогиня. Она пошла обратно к берегу.

— Вы хотите ехать в город, доктор, и у вас нет своей лодки? Садитесь в мою.

Он взял с собой мальчика, болезненное существо со слабыми глазами, белыми локончиками и желтым цветом лица.

— С вами мальчик?

— Это мой ребенок. Я его очень люблю.

Она подумала: этого незачем было говорить. И брать его с собой тоже было незачем.

После некоторого молчания она спросила:

— Ведь вас называют Павезе?

— Я должен был так назвать себя. Не приняв нравов и даже имен наших врагов, мы не можем преуспевать в своей собственной стране.

— Кто это мы?

— Мы...

Он покраснел. Она заметила, что у него необыкновенно нежная кожа и розовые ноздри.

— Мы, морлаки, — быстро докончил он.

«Морлаки? — подумала она. — Так вот как звали тех пестрых, грязных на берегу. Значит, — это был народ?»

Она считала их безымянным стадом. Она проверила:

— А люди на берегу, это были тоже...

— Морлаки, ваша светлость.

— Почему они не понимают по-итальянски?

— Потому, что это не их язык.

— Какой же их язык?

— Морлакский, ваша светлость.

Так у них есть и язык. Ей казалось, что каждый раз, как они открывали рты, слышалось нечленораздельное хрюканье, по которому посвященные могли догадываться о всевозможных неясных, бессознательных намерениях, как по жизненным проявлениям животных. Павиц продолжал:

— Я вижу, ваша светлость, этот народ, еще незнаком вам.

— Среди моих слуг никогда не было никого из них. Я помню, мой отец называл их...

Она опомнилась и замолчала. Он тоже молчал. Вдруг он выпрямился и, приложив руку к сердцу, начал говорить со всем напряжением, которого требовал этот, быть может, единственный момент.

— Мы, морлаки, принуждены быть зрителями того, как два иностранных разбойника делят между собой нашу страну. Мы — цепная собака, на которую нападают двое волков; а крестьянин спит.

— Кто же эти волки?

— Итальянцы, наши старые угнетатели, и король Николай со своими приспешниками. О, ваша светлость, не поймите меня неверно. Династия Кобургов никогда не располагала более верным сердцем, чем то, которое бьется в этой славянской груди. Когда державы посадили на трон Далмации принца Николая Кобургского, весь славянский мир облегченно вздохнул. Позор столетий будет, наконец, отомщен, — таков был глас народа от Архангельска до Каттаро: ибо от Каттаро до Архангельска и от Ледовитого океана до маслянистых волн юга славянские сердца бьются в такт. Латинским разбойникам, угнетающим священный славянский народ, привяжут, наконец, камень на шею и потопят их в море. Так ликовали мы! Так ликовали мы преждевременно. Да, герцогиня, как было, так и осталось: чужие господствуют.

— Какие чужие?

— Итальянцы.

— Их вы называете чужими? Ведь здесь все итальянское. На безлюдном берегу пустынного моря итальянцы воздвигли прекрасные города...

— И теперь, — вы видите, ваша светлость, как больно поражают меня в сердце ваши слова, я даже решаюсь прервать вас, — и теперь они сидят в этих прекрасных городах, как пауки, и пьют бедную кровь славянской земли. В городах, на берегу моря, кричат, наслаждаются и играют в театрах по-итальянски. Перед любопытными, проезжающими мимо, разыгрывается комедия благосостояния, цивилизации и довольства, которых эта страна не знает. Сзади же, на далеко раскинувшихся печальных полях, жизнь проходит тихо и сурово. Там по-славянски молчат, голодают и страдают. Царство, герцогиня, принадлежит не тем, кто наслаждается, оно принадлежит страждущим.

Она спросила себя: — Не считает ли он страдания заслугой?

Трибун продолжал:

— Принести варварство и нищету в страну, где были только довольство и невинность; выжимать золото из тел бедняков и продавать за золото их бессмертные души, — это наши бывшие господа, венецианцы, называли «колонизировать». Взамен всего того, что они отняли у нас, они послали нам своих художников, которые построили нам несколько никуда не годных памятников; голодающие могли смотреть на них досыта.

Он вскочил. Вытянув правую руку с растопыренными пальцами по направлению к белому городу, поднимавшемуся перед ними из воды, он воскликнул навстречу ветру:

— Как я ненавижу эту безбожную красоту!

Герцогиня отвернулась с легким отвращением. Павиц не мог долго держаться на ногах в сильно качавшейся лодке; он пошатнулся и хлопнулся на сиденье. Вскоре они пристали к берегу. Павиц глубоко вздохнул.

— Король Николай не знает об этом ничего. Я уважаю его, он набожен, а я с моим простым славянским сердцем был всегда верующим сыном церкви. Но он в сетях у итальянцев. Если бы это было не так, разве он преследовал бы и заточил бы в тюрьму такого верного подданного, как я.

Ее экипаж ждал ее, она уже стояла у открытой дверцы; вдруг она опять обернулась к нему.

— Вы сидели в тюрьме?

— Два года, ваша светлость.

Герцогиня поднесла к глазам лорнет: она никогда не видела государственного преступника. Павиц стоял без шляпы, в уборе своих коротких, каштаново-красных локонов, свет переливался в его рыжей бороде, он открыто смотрел ей в глаза:

— Вы должны быть непримиримы, — наконец сказала она. — Я была бы непримирима.

— Боже сохрани. Но быть всегда набожным и лояльным, и только за любовь к своему народу быть преследуемым и запертым в тюрьму, ваша светлость, это больно, — горячо сказал он.

— Больно? Вы должны быть разъярены.

— Ваша светлость, я прощаю им...

Он держал правую руку с вывернутой наружу ладонью несколько вбок от бедра. Он поднял глаза к небу.

— Ибо не ведают, что творят.

— Вы расскажете мне при случае еще об этом, доктор.

Она кивнула ему из экипажа.

Был полдень, в защищенных от ветра улицах пылало солнце. Герцогиня чувствовала себя размягченной и усыпленной градом слов, улавливающих, опутывающих, обессиливающих слов. Даже в своих прохладных залах она не могла стряхнуть с себя нездоровых чар. Все предметы, которых она касалась, были слишком мягки, молчание в доме слишком ласково и мечтательно. Ей чуть не стало жаль птички, разбившей себе головку об ее окно. Ей понадобилась целая ночь, чтобы стать опять спокойной и благоразумной.

\* \* \*

Неделю спустя получилось отчаянное письмо от принца Фили. Фон Гиннерих слишком предан, он не позволяет ему ни шагу сделать одному. Если она откажет ему в свидании в cercle intime, он потеряет окончательно почву под ногами. Этого она, конечно, не хочет, этого могут желать только иезуиты.

Она завезла свою карточку принцессе. Вслед за этим к ней явился гофъегерь с письменным приглашением к ее высочеству.

Когда лакей распахнул перед ней дверь, Фили опрокинул рабочий столик. Две чашки разлетелись вдребезги. Несколько фигур, одиноко мерзших в большой, холодной комнате, торопливо поднялись, избавленные от гнетущей скуки. Принцесса любезно подвинула второе кресло к своему, в теплой глубине которого пряталась, дрожа от холода. Она была высока, ужасающе узка и худа; в ней все было бесцветно: волосы, кожа, глаза и манеры. Локти и колени торчали, как колья, сквозь ткань простого закрытого платья, кисти рук в кружевных манжетах, казалось, вот-вот оторвутся.

— Вы заставили нас долго ждать, — сказала она.

Она говорила медленно и слегка жалобно. С первого же слова чувствовалось, что она из тех, к кому никак не подойдешь.

— Я очень сожалею, ваше высочество, — возразила герцогиня. — Тем не менее, я еще долго не отказалась бы от своего уединения; только желание вашего высочества могло побудить меня к этому.

— Вы делаете это ради меня, ваша светлость? Да вознаградит вас за это господь. Как я мечтала о том, чтобы поговорить с человеком большого света, с вами, милая герцогиня, о жизни там, — о Париже.

Но всей комнате пронесся стон. Фили глухо повторил: «Париж», «Париж», — пролепетали две разряженные дамы. На их белые, как фарфор, шеи сбегали искусно сделанные локоны, украшенные большими розами. За их спинами их мужья отбросили назад темные головы, так, что напомаженные кончики густых черных усов поднялись к потолку: «Париж». «Париж», — пробормотал Перкосини, приятным, полным тоски баритоном. Из тускло освещенного угла, заглушенный шелковыми подушками, донесся усталый вздох полной, красивой женщины: «Париж». И только фон Гиннерих, не шевельнув бровью, внимательный и верный долгу, продолжал стоять возле стула, на котором барахтались жалкие члены наследника престола.

Принцесса сказала:

— Ваша светлость, позвольте мне познакомить вас с нашими друзьями.

— Mesdames Палиоюлаи и Тинтинович.

Обе дамы низко присели в своих платьях, сзади на поминавших кентавра. Любезные улыбки чуть не растопили молочный слой жира на их лицах. Герцогиня заметила, что madame Тинтинович красива со своим орлиным носом и черными бровями под крашеными белокурыми локонами.

— Принцесса Фатма, — сказала Фридерика Шведская, — моя милая Фатма, супруга Измаила Ибн-Паши посланника его величества, султана, при нашем дворе.

— Одна из супруг, — поправил Фили. — Выражайся всегда точно, моя милая: одна из его четырех супруг.

Герцогиня приветливо пошла навстречу красивой, полной женщине, выпутывавшейся из своих подушек Ее узкая, голубая, атласная туника над желтыми башмаками говорила о парижских бульварах; но полное, как луна, сверкающее белизной лицо с нарисованными дугами бровей над узкими, обведенными углем глазами и умащенные дорогими маслами волосы в бледной росе жемчужных подвесок, несомненно, ускользнули из оставленной по ошибке открытой двери гарема. Сильный запах пачули исходил от ее тела; в ее дыхании воспоминание о тонком табаке смешивалось с совсем-совсем легким запахом чеснока.

— Господин Тинтинович, господин Палиоюлаи, — сказала супруга Фили.

Одного нельзя было отличить от другого. Усы, холодные, усталые глаза, ослепительное белье и брильянты, красовавшиеся всюду, где только можно было, — все это было у них общее. Оба поклонились одновременно. Казалось, они принадлежали к тому роду мужчин, которые, благодаря своим изысканным манерам, являются украшением любой гостиной, и от которых можно ждать, что в критическую минуту, после карточного проигрыша, они способны оторвать у женщин мочки ушей, в которых висят драгоценные камни. Брильянты, сверкавшие на их гибких телах, они, быть может, добыли собственноручно в рудниках Индии. Один взгляд на их жесткие, изящные, усеянные тонкими, как волосок, морщинами лица вызывал в представлении множество странных историй. Если бы династия Кобург когда-либо пала, господа Палиоюлаи и Тинтинович могли бы променять королевский дворец Далмации на игорные залы Монако, всегда одинаково уверенные, в качестве ли придворных или в качестве крупье.

Будущая королева сказала:

— Барон Перкосини, майор фон Гиннерих.

Стройная, изящная фигура камергера вся перегнулась. Его почтительная улыбка была мягка, как его кудрявая бородка; но его взгляд оценивал и крал. Своими белыми зубами и мягкими руками он предлагал себя в качестве молчаливого друга, бескорыстного почитателя и тонкого посредника во всех тайнах. Он считал возможным все и сомневался во всем, за исключением ценности денег.

Гиннерих не сомневался ни в чем; возможным для него было только то, что существует. Он был гигантского роста, у него было покорное, давно небритое, с рыжей растительностью, лицо. Он поклонился, звякнув шпорами.

— Да, герцогиня, это Гиннерих, необыкновенно верный человек! — неожиданно крикнул принц Фили, вскакивая со стула. Он одной рукой обхватил своего адъютанта за бедро, и, согнувшись, весь сияя, улыбался ему снизу вверх, точно обезьянка у подножья немецкого дуба. Вдруг он вспомнил о чем-то другом.

— А вас видели, герцогиня. Знаете, это нехорошо с вашей стороны, что вы гуляете с другими людьми, а не с нами.

— Что вы хотите сказать, ваше высочество? — спросила герцогиня.

Фридерика пояснила:

— И притом с человеком, который, может быть, не вполне заслуживает такой чести.

— С государственным преступником, ваша светлость, — любезно прибавил Перкосини.

Принцесса Фатма произнесла тонким, нежным голоском:

— С опасным субъектом, герцогиня.

Дамы Палиоюлаи и Тинтинович тихо взвизгнули. Их мужья подтвердили с убеждением:

— Очень опасным субъектом, герцогиня.

Она была искренне изумлена.

— Доктор Павиц? Это была случайная встреча. Он производит впечатление добродушного, довольно тщеславного человека.

— Ах, нет!

— Страшно наивного для его возраста, — докончила она. — Это то, что называют «верующей натурой», как мне кажется.

— Да, это...

Фили ребячески засмеялся. Остальные члены общества серьезно переглянулись.

— Простите, герцогиня, это божественно.

— Мой милый, это не божественно, — поправила его высокая, бесцветная супруга.

— Этот Павиц, ваша светлость, наш опаснейший революционер. Он подстрекает наш добрый народ, он хочет прогнать нас. Он хочет, чтобы мы окончили свою жизнь в изгнании или на гильотине.

Она говорила кислым тоном, исключающим всякое противоречие.

— Если ваше высочество убеждены в этом... — сказала герцогиня.

— Это так.

— Тогда надо было бы поговорить с ним. Впрочем, он уже сидел в тюрьме, это я нашла великолепным. Вы могли бы посадить его опять.

— Если бы это теперь было возможно.

— Да в этом, конечно, и нет необходимости. Он не совершит никаких насильственных поступков, он набожен.

— Потому что он нуждается в духовенстве.

— Такой лицемер! — воскликнул Фили. — Он заодно с ие-зу-итами.

— Ваше высочество, позвольте, — нежным голосом сказал Перкосини. — Спрашивается, насколько важным следует считать этого господина. Несомненно, его легко было бы успокоить небольшим количеством денег.

— В этом я сомневаюсь, — сказала герцогиня.

— Деньгами! — возмущенно крикнул Тинтинович. — Палкой!

— Палкой, хотели вы сказать, барон! — крикнул Палиоюлаи.

Их супруги сладко спросили:

— Ведь вы его уже раз поколотили? Если его высочество хочет этого, сделайте это еще раз. Не правда ли, Евгений! Не правда ли, Максим?

— Ах, это вы тогда совершили экзекуцию! — сказала герцогиня. — Скажите, пожалуйста, господа, нет ли рядом с домом доктора Павица аптеки, где можно получить перевязочный материал? Я спрашиваю так, между прочим.

Оба растерянно вытаращили белки глаз, разинули рты и показали свои челюсти, точно два больших, темных щелкунчика. Герцогиня с досадой размышляла: «Чего ради я волнуюсь из-за этого Павица? Но глупость всех этих людей заставляет меня принять его сторону». После неловкой паузы принцесса тягуче заговорила:

— Нет, я считаю невозможным устранять все жалобы с помощью палки. Но они должны быть устранены В ближайшем будущем я думаю открыть народную столовую. Я уже отдала барону Перкосини относящиеся к этому распоряжения.

Камергер поклонился.

— В следующую среду опять начинаются наши вязальные вечера у Dames du Sacre Coeur. В субботу очередь за молодыми девушками. Прошу помнить это, mesdames. Народ получит суп и шерстяные куртки, это мое твердое решение. Затем, духовная пища. Мы теперь, конечно, католики...

— Конечно, — громогласно подтвердил фон Гиннерих.

— Тем не менее я думаю, что мы можем основать библейский кружок. Вы усердно ходите с подписными листами в пользу церкви Примирения во имя Фридерики, messieurs Палиоюлаи и Тинтинович. Не забывайте барона Рущука; эти евреи умеют давать.

Будущие крупье закатили белки глаз к небу.

— А празднества? — спросила принцесса Фатма, неожиданно появляясь близ освещенного стола.

— Где же благотворительные празднества, дорогая Фридерика? Какой-нибудь базар, рождественские ясли — ведь вы это так называете, не правда ли? Беата Шнакен будет продавать куклы; она восхитительно одевает кукол. У меня будет турецкая кондитерская. Mesdames Палиоюлаи и Тинтинович...

— И бал! — попросила madame Тинтинович.

Фатма огорчилась.

— О, нет, бала не надо!

Она беспомощно заковыляла на своих коротких ногах к Фридерике Шведской и неуклюже бросилась ей на шею.

— Милая, пожалуйста, не надо бала!

Принцесса успокоила ее.

— Дорогая, я тоже против танцев. Я даже хочу побудить директора полиции закрывать кабачки в девять часов вечера. Затем я думаю подействовать на женщин, чтобы они перестали ездить на велосипедах, а вместо этого варили варенье, что я нахожу более нравственным. Вообще безнравственность должна прекратиться. Вот, кажется, и все. Или я что-нибудь забыла?

Никто не собирался что-либо добавлять.

— Как хорошо, дорогая герцогиня, что вы навели меня сегодня на это. Социальный вопрос должен, наконец, перестать существовать, — закончила принцесса, заметно раздраженная.

Супруга турецкого посланника шумно ударила себя в пышную грудь, и на лице ее выразилось удивление.

— Я не понимаю, чего вы так хлопочете. Вы слишком неопытны. Послушайте, что сделал мой муж, когда был пашой в Малой Азии. Христиане пришли с полей, с ними были и правоверные, и всем им было нечего есть, и они были страшно раздражены. Мой муж велел сказать им, что у него есть много муки, и чтобы они пришли во двор замка. Они пришли, и как только они очутились между высокими стенами, мой муж велел запереть ворота, и...

Фатма прервала себя смехом. Она щебетала как ребенок.

— ...и их всех вырезали. Ха-ха! Вырезали. — О! О! — вырвалось у дам Палиоюлаи и Тинтинович, и в их вздохах смешивались ужас и желание.

— Они толкались и кричали, как свиньи на тесной телеге мясника, когда их стаскивают одну за другой.

Принцесса снисходительно улыбнулась.

— Нет, моя милая Фатма, у нас это вызвало бы слишком много шуму.

Фон Гиннерих шумно переступил с ноги на ногу.

— К сожалению! — вдруг крикнул он, побагровев. Анекдот гаремной дамы воодушевил прусского майора.

— Мы остаемся при супах и шерстяных куртках, — решила Фридерика Шведская.

— Не правда ли, моя милая герцогиня Асси, вы возьмете на себя почетное председательство в каком-нибудь из моих благотворительных учреждений? Ведь вы тоже интересуетесь разрешением социального вопроса.

— Ваше высочество, я еще никогда не думала об этом. Возможно, что когда-нибудь мне вздумается.

Со всех сторон посыпались изумленные вопросы.

— Но почему же тогда ваша светлость интересуетесь Павицом?

— Почему вы были у морлаков?

— Уже два раза?

— Потому что я скучала, — объяснила герцогиня. — Тогда я вспомнила о народе. Народ — это самое странное, что я знала в жизни. Всегда, когда я встречалась с ним, он был для меня загадкой. Он приходит в ярость из-за вещей, которые должны были бы быть для него совершенно безразличными, и верит в вещи, которые только помешанный может считать истинными. Если ему бросить кость, как собаке, — а в чем, в сущности разница? — он ее, правда, будет грызть, но не станет вилять хвостом. Ах, это всегда больше всего возбуждало мое любопытство. Поэтому я не верю и в то, что супами и шерстяными куртками все будет улажено...

— В этом, ваша светлость, вы заблуждаетесь, — высокомерно сказала принцесса. — В этом вы решительно заблуждаетесь.

Герцогиня продолжала:

— Император Наполеон очень заботился о своем народе. Париж процветал и становился все жирнее. Я не думаю, чтобы там было много людей без супа и шерстяных курток.

Кто-то простонал:

— Ах, Париж!

— Тем не менее, народ с неистовством бросился в эту излишнюю и неразумную войну. Во время наших путешествий меня поражало многое, но больше всего черная толпа и среди нее, в желтом свете газовых фонарей, бледные, потные лица, кричащие: «В Берлин!»

— Ах, Париж!

— Ваша светлость, вы присутствовали при всем этом до самого конца. Вы, наверное, можете сказать нам: где Аделаида Трубецкая?

— И д'Осмонд?

— И графиня д'Ольней?

— И Зози?

Герцогиня пожала плечами.

— Говорят, что маленькая Зози любит коммунара. Она стоит на улицах на опрокинутых шкапах и омнибусах и заряжает ружья.

— Quelle horreur! После маркиза Шатиньи — коммунар!Madame Палиоюлаи с горечью сказала:

— События в Париже просто гнусность. Посмотрите, какие перчатки я принуждена носить. Из Парижа я, конечно, их больше не получаю. Мыслимо ли это?

— Но Фридерика успела еще получить шляпу. Послушайте, герцогиня, вы должны посмотреть ее! — взволнованно воскликнул принц Фили. Вдруг все закричали, перебивая друг друга. Дамы торопливо хватали и показывали свои веера, кружева, браслеты. Перкосини в оживленной беседе старался пробудить в герцогине общие воспоминания о праздничных днях. Бесцветное лицо принцессы слегка порозовело. Палиоюлаи и Тинтинович с мужественно сдерживаемой скорбью напоминали друг другу об игорных домах, которые оба знали, и хорошо знакомых обоим альковах известных дам. Слово «Париж» наэлектризовало их уставшие в тяжелом воздухе далекой провинции сердца. Сияние города-светоча доходило и до этого далекого моря, и людям, жившим здесь, он казался сказкой, желанным мифом. Его имя, произнесенное перед этими людьми Востока, производило на них такое впечатление, какое производят на детей Запада сказки «Тысячи и одной ночи». И едва вернувшись из поездки в Париж, они думали об источниках для покрытия расходов на новую: дамы — об экономии на обедах, на белье, кавалеры — о тотализаторе и карточных столах, монархи — о народе.

Принцесса Фатма с напряжением атлета поставила свою тяжелую ногу на стул и предлагала всем убедиться, что ее мягкий кожаный башмак облегает икру до самого колена.

— Это Париж, — благоговейно говорила она. Чтобы опять попасть на пол, она оперлась всей тяжестью о плечо наследника престола, который стоял, с любопытством нагнувшись над ней. Он задыхаясь вырвался из объятий прекрасной женщины, поднес ко лбу носовой платок и пробормотал неуверенно, искоса бросая взгляд на фон Гиннериха:

— Терпеть не могу женщин.

Еще не совсем придя в себя, он крикнул с насильственной веселостью:

— Что вы скажете, герцогиня, о нашей Фатме? Правда, она прелесть?

Она протянула турчанке руку.

— Из всех мнений, которые здесь были высказаны, ваше понравилось мне больше всего. Оно было искренне.

— Ваша светлость слишком любезны, — с милой детской улыбкой ответила Фатма. Фили зашептал:

— Ну, остальные наговорили чересчур много глупостей. Ваша светлость знаете: если бы я мог... Мне, к сожалению, не позволяют ничего, но с остальными прошу меня не смешивать. Фридерика болтает бог знает что...

Фатма вмешалась.

— Ни слова против вашей жены, ваше высочество. Она моя подруга.

— Потому что у вас обеих такие милые мужья. Вы вечно торчите вместе и рассказываете друг другу как вам хорошо живется.

— Я хотела бы познакомиться с пашой, — сказала герцогиня.

— Я приведу его к вам, ваша светлость. О, он силен и энергичен, — с почтением заявила Фатма.

— Такое именно впечатление он произвел на меня но вашему рассказу.

Фатма вздохнула.

— К сожалению, он не верен мне, — точь-в-точь, как вот этот моей бедной Фридерике.

— Посмотрите-ка на нее! — воскликнул Фили. — Вам ли возмущаться против существующего порядка вещей? У паши есть свой гарем, так оно и должно быть, и у меня тоже свой гарем.

— У вас тоже, ваше высочество?

— Разве я не могу иметь их всех? Палиоюлаи, Тинтинович, что вы думаете? Шнакен тоже хочет меня! Мне прямо неловко, когда она это показывает перед всем обществом. Перкосини тоже негодяй. У него всегда есть девочки, которых он мне предлагает. Ах, что там...

Он полуотвернулся и, запустив бледную ручонку в редкие бакенбарды и надув губы, уставился в землю.

— Терпеть не могу женщин.

Фатма опять вздохнула, погруженная в свои мысли.

— Если бы только я могла тоже хоть раз изменить ему.

— Паше? — спросила герцогиня. — Ведь вы любите своего мужа?

— Именно потому. Пусть он почувствует, каково это. Но в том-то и горе, что это не выходит. То, что я проделываю здесь среди христиан, в парижских туалетах, ему совершенно безразлично.

— В самом деле?

— Только в гареме — там он этого не потерпит, там не должно происходить ничего.

— Что вы? — сказал Фили, опять возбуждаясь.

— Потому-то мне так хотелось бы привести в гарем мужчину... Так хотелось бы, — повторила она, складывая руки.

— Ах, возьмите меня, — просил принц.

— У паши, вероятно, есть кривая сабля? — улыбаясь спросила герцогиня.

— В том-то и дело, — подтвердила Фатма, широко раскрывая глаза.

Наследник престола хотел что-то сказать, но торопливо закрыл рот. Его супруга вынырнула из глубины своего кресла, ее высокая фигура бесшумно скользнула к беседовавшим. Фатма отошла с Фили. Принцесса положила свою холодную худую руку на руку гостьи и заговорила с заметным смущением.

— Как вы себя чувствуете, моя милая герцогиня? Не холодно ли здесь? Как я мерзну на юге! Эти сквозняки из каминов! И эта застывшая пышность!

Она обвела безутешным взглядом позолоченную мебель королевских дворцов, наполнявшую едва половину комнаты.

— И потом духовная пустыня. Когда мы дебатируем высшие проблемы, вы не должны думать, дорогая герцогиня, что я довольствуюсь пустыми фразами, которые носятся здесь в воздухе. Не смешивайте меня с окружающими...

— Как можно! Ваше высочество так много размышляли...

Но принцесса, казалось, все еще не успокоилась.

— Если бы народ знал, — мы, сильные мира сего, тоже не всегда счастливы, — протяжно сказала она, и затем тихо, торопливо, как бы вдруг решившись, прибавила:

— Посмотрите на моего бедного мужа... Мы оба достойны сожаления. Каждый пользуется его слабостью. Перкосини, по-видимому, продает ему коньяк. У барона чересчур развиты коммерческие наклонности. А женщины! Все бросаются на шею наследнику престола. В Стокгольме я и не подозревала, что существуют подобные нравы. Он иногда плачет у меня на груди и жалуется мне, — но что вы хотите, он слаб. Очень слаб.

Она впилась своим неподвижным, бледным взглядом в лицо герцогини. Умоляюще, прерывающимся голосом она пролепетала:

— Я знаю, он преследует вас. Останьтесь хоть вы холодны и стойки! Хоть одна порядочная женщина... Как я уважала бы вас!

Герцогиня не успела ответить. Она ощутила еще раз пожатие холодных пальцев на своей теплой руке, затем Фридерика отошла к прислушивавшимся придворным. Фили тотчас же очутился возле герцогини.

— Она жаловалась вам на меня? — прошептал он. — Конечно! Настоящий крест — эта женщина. Неужели она не может быть покладистее? Взяла бы пример с моей мамы! Та только на днях подарила папе портрет Беаты в натуральную величину. Моя мама благородная женщина, удивительно благородная женщина, — вы не находите этого, герцогиня?

— А, королева подарила его величеству портрет его приятельницы!

Она отвернулась; она вдруг почувствовала, как далека она от этих людей и их душевной жизни.

— Вы были сегодня молчаливы, ваше высочество, — сказала она. — Надеюсь, вы не в мрачном настроении?

— Как же иначе! Здесь, у моей жены я получаю только чай, — хоть плачь! Когда у меня нет коньяку, герцогиня, я сейчас же начинаю думать о своем неудовлетворенном честолюбии и о том, какой я неудачник. Тогда мне хочется надеть свой белый воротник.

— Белый воротник?

— Вы еще не знаете? Мой воротник инфанта, белый, шитый золотом и подбитый соболем. Да, герцогиня, точь-в-точь, как воротник дона Карлоса. Ах, дона Карлоса я люблю, как родного брата! И не братья ли мы? Его судьба такая же, как моя. Неудовлетворенное честолюбие папы — все совершенно то же. У меня — мой Гиннерих, у него — его Родерих. Только с мачехой разница: я совсем не хочу Беаты; только она хочет меня... Но костюм инфанта, в самом деле, шикарен, вы не находите, герцогиня? Если бы я мог когда-нибудь показаться вам в нем. Я хочу просить вас...

Он поднялся на цыпочки и шепнул, дрожа от желания:

— Герцогиня, доверьте дону Карлосу ключ от вашего кабинета!

Она откинула голову, чтобы не чувствовать его дыхания. Она не поняла его просьбы и равнодушно заговорила с подошедшим бароном Перкосини. Наследник престола погрузился в свои мысли.

Камергер сказал:

— Наш первый обмен взглядов на отношение к народу, вероятно, вызвал в вашей светлости различные мысли. Не правда ли, каждое слово отзывалось провинцией. Все — с такой важностью и без всяких сомнений. Приходится идти за всеми... но про себя улыбаешься, как улыбаются в Париже.

Он тонко улыбнулся.

— Я надеюсь, что ваша светлость не смешиваете меня с моими здешними друзьями.

Она возразила:

— Конечно, нет. И скажите, пожалуйста, господам Палпоюлаи и Тинтинович, а равно и их супругам, что я их не смешиваю ни с кем.

Она простилась с принцессой. Фили хотел выскользнуть из двери вслед за нею, но тяжелый взгляд адъютанта приковал его к месту.

Едва герцогиня очутилась за дверью, как все эти оставшиеся позади лица исчезли из ее памяти, точно погрузившись опять в густой туман скуки и ограниченности. Усталая и расстроенная, вспоминала она несколько бесцельно бродивших фигур, между которыми сновали лакеи с чашками чаю и конфетами. В следующие дни она с удовольствием думала о Павице; его слова раздавались у нее в ушах, они звучали почти значительно. Она написала ему.

\* \* \*

Он тотчас же явился в безукоризненно сшитом сюртуке. Свою шляпу с полями он оставил в передней. Она подумала: «Он мог бы быть государственным человеком».

— Вы уже однажды сидели в тюрьме, — сказала она. — Это может легко случиться опять. К вам относятся недоброжелательно.

Он сел с жестом, в котором выражалась вся тяжесть его презрения.

«Нет, не государственный человек, — подумала герцогиня. — Но почти артист».

Павиц заявил:

— Ваша светлость, в опасности я сильнее всего. Тогда, прежде чем придворные лизоблюды наложили на меня руки, я жил опьяненный сознанием своей силы. Я говорил ежедневно, по крайней мере два раза, с народом, я не отгонял от своего порога ни одного из угнетенных и обремененных, а между тем мне приходилось тогда ухаживать за смертельно больной женой. Я могу сказать, ваша светлость, что я оплакивал жену под остриями кинжалов.

Он сделал несколько твердых шагов; ему стало трудно сидеть на месте. Его голос смягчился в интимной обстановке. На воздухе он раздавался далеко вокруг, здесь он осторожно жался к штофным обоям и терялся в темных углах. Только его движения оставались широкими, как-будто он стоял на морском берегу, в обширных равнинах, и его должны были видеть самые задние из десятков тысяч зрителей.

— Ваша жена умерла?

— Они оторвали меня от ее трупа. Я читал библию. Потому что...

Он сел.

— Потому что я имею обыкновение читать библию.

— Для чего собственно?

Он посмотрел на нее с глубоким изумлением; затем сказал, запинаясь:

— Для чего... для чего... Ну... это доставляет мне радость... и это помогает, ваша светлость, это помогает. Как часто я молился в опасности, во время странствований по ущельям Велебита и его крутым откосам. Еще совсем недавно, во время одного переезда с бароном Рущуком. Мы ехали по делам, был яростный северный ветер: ваша светлость, помните. Наша лодка чуть не перевернулась, на нас надвигалась чудовищная волна. Я не смотрел на нее, я смотрел на небо. Волна отхлынула перед самой лодкой. Я обернулся к еврею, он был мертвенно бледен. Я сказал только: я молился.

Она разглядывала его.

— От вас, доктор, я узнаю все новые вещи... И все вещи, которых я не ждала от вас.

Он скорбно улыбнулся:

— Не правда ли? Революционер не должен иметь сердца, трибун не должен иметь частной жизни? Но я набожный сын бедных людей, я люблю свое дитя и читаю с ним вечернюю молитву. Душевная жизнь моего народа, ваша светлость, — вот чего никогда не поймут эти чужие, живущие среди нас.

— Опять чужие. Скажите, Пьерлуиджи Асси, проведитор Венецианской республики, был чужим в этой стране?

Он смутился, поняв свою ошибку.

— Я не принадлежу ни к итальянцам, ни к морлакам. Ваш народ не интересует меня, любезный доктор.

— Но... любовь целого народа! Ваша светлость, вы не знаете, что это значит. Посмотрите на меня, меня окружает изрядное количество романтики.

— Это вы уже говорили... Воспламенить меня могла бы мысль ввести в этой стране свободу, справедливость, просвещение, благосостояние.

Она делала долгие паузы между этими четырьмя словами. Казалось, эти понятия возникали в ней, по мере того, как она говорила, в первый раз в ее жизни. Она прибавила:

— Вот моя идея. Ваш народ, как я уже сказала, мне безразличен.

Павиц не находил слов.

— Здесь господствует клика мелких людишек, — сказала герцогиня, — провинциальной аристократии, которая в Париже была бы смешна. При дворе собираются полудикари и педанты-мещане и щеголяют друг перед другом грубостью. Это мало отрадное зрелище, поэтому я хотела бы уничтожить его.

Она говорила все решительнее. В ее уме вдруг оформился целый ряд идей, и одна влекла за собой другую.

— Что делает король? Мне говорят, что он раздает милостыню. В кружке принцессы много толкуют о супах и шерстяных куртках, что я нахожу слишком дешевым средством. Вообще король — это нечто излишнее или будет излишним. Свободный народ (посмотрите на Францию) повинуется самому себе. Даже законы, — я не знаю, нужны ли они, но они достойны презрения.

Павиц сказал, оцепенев:

— Ваша светлость — анархистка.

— Почти. Пожалуй, пусть будет кто-нибудь для ограждения свободы. Только для этого и нужен король.

Он глубоко вздохнул от удовольствия, ему показалось, что он открыл ее человеческую слабость.

— Или королева, — значительно добавил он.

Она повторила, пожимая плечами:

— Или королева.

Затем она встала.

— Приходите опять, доктор. Нам надо еще многое сказать друг другу.

— Ваша светлость, вашего приказания достаточно, чтобы привести меня сюда в любой момент.

— Нет, нет. Вы работаете, я сижу сложа руки. Приходите, когда у вас будет время.

Его охватило радостное возбуждение. Сознание, что его оценили по достоинству, придало ему мужества для долгого благодарного поцелуя руки. И когда он удалился, сознание, что он касался губами тела герцогини Асси, несло его точно на крыльях.

Она узнала от Павица, что для осуществления ее планов нужно много денег, и была изумлена.

— Необходима неслыханная агитация и звонкие поощрения на все стороны.

— Это, очевидно, новая особенность народа. За то, что ему дают свободу, справедливость, просвещение, благосостояние, он еще требует на чай.

Трибун опустил голову.

— Но я ничего не имею против, — заявила герцогиня.

Затем он предложил ей для финансовых операций барона Рущука.

— Этот Рущук уже банкротился во всех придунайских государствах и в Вене, где сделал то же самое, был оправдан блестящим образом. Теперь его считают в десять миллионов.

Герцогиня сделала движение. Павиц опомнился: восхищение адвоката ловким финансистом было быстро подавлено моральным неодобрением, которое он возбуждал у представителя народа.

— Я не оставлю вас, ваша светлость, в сомнении относительно нравственных качеств Рущука. Я очень неохотно привожу наше дело, священное дело моего народа, в соприкосновение с этой подозрительной личностью. Совесть горько упрекает меня... но...

— Почему же, он, кажется, способный человек?

— Способный и опасный. В данное время он держится спокойно, но мне приходится иметь с ним дело, и я знаю, какое честолюбие грызет его. Он хочет стать министром одной из стран европейской Азии, где он был осужден in contumaciam: они должны склониться перед его блеском. Если ваша светлость уполномочите меня предложить ему пост министра здесь, в этой стране... Конечно, человек он в высшей степени недостойный.

— Что нам до этого? — решила она. — Если только он может помочь нам. Те, кто осудил его, несомненно, не лучше. К кому же обратиться?

Она пригласила его к себе. Рущук был необыкновенно элегантный господин, с красным, изрытым оспой лицом, густо обросшим курчавыми черными волосами. В красивых панталонах колыхался мягкий живот, а тонкие руки торопливо и угловато рассекали воздух. Усевшись напротив герцогини, он сейчас же заговорил о злополучиях бедного народа и о счастливых странах под владычеством мудрых и прекрасных королев; от него пахло мускусом. Она ничего не ответила; он потер руки и дал заметить, что они вымыты одеколоном. Затем он развернул свой носовой платок; можно было подумать, что он вынул из кармана букет фиалок. Он хлопнул себя по жилету и взмахнул животом, точно кадилом: из него поднялось облако пачули.

«Опасен? — подумала она. — Да, ведь, он смешон».

Чтобы испытать мгновенным капризом свое счастье, она тут же поручила ему верховный надзор за управлением всех своих владений, обширных, раскинувшихся по всей Далмации, поместий покойного герцога, островов Бузи, Лисса, Кирцола с их ценными рыбными ловлями. И увидя себя во главе этого огромного состояния, Рущук тотчас же стал вдвое увереннее. Уходя, он сказал дружески наставительно:

— Итак, деньги должны все увеличиваться в количестве и доставлять нам все больше друзей.

\* \* \*

Прежде, чем год пришел к концу, стали поговаривать, что грабежи и разбои сильно участились. Разбойники спустились с гор в большем количестве, чем всегда. У итальянцев поджигали хлеба и рубили оливковые деревья. В один прекрасный день они находили все свои виноградные лозы изрезанными еще прежде, чем ягоды успевали созреть. Зимой 72 года из Зары на юг отправились два полка стрелков; среди утесов и на скалистых островах восставшие славяне боролись за свободу, которую им обещала неизвестная женщина, далекая, никогда не виданная королева, о которой они мечтали, о которой пьяные лгали друг другу в кабаках, и к которой обращали свои жалобы и молитвы. На улицах герцогиня чувствовала, как к ней в экипаж проникали напряженные, серьезные взгляды. Под своими окнами она слышала торопливые, шаркающие шаги. Это были сандалии восьмидесяти худых, смуглых парней, которые, засунув руки в штаны из козьих шкур, робко стояли под колоннами и, как очарованные, смотрели вверх.

\* \* \*

Однажды Павиц с торжественным видом объявил о прибытии маркиза Сан Бакко. На мгновение ее сердце забилось сильнее: там, где появлялся этот старый буревестник, грозили восстание, переворот, политическая авантюра. Он отдавал свое воодушевление и свой кулак грекам, полякам и южно-американским борцам за независимость, французской Коммуне, молодой России и итальянскому единству. Свобода была лозунгом, на звук которого он отзывался без промедления. Он услышал его мальчиком и убежал из дому, за молодую Италию попал в тюрьму и, вырвавшись из ее стен, поспешил в Америку к Гарибальди, своему герою. Он грабил в качестве корсара императорские бразилианские корабли и в качестве диктатора господствовал над экзотическими республиками; от утонченных варваров он терпел смешные пытки, в лагунах гигантских рек вел свободную, как птица, жизнь бродяги, воровал коров и бросал вызовы государствам: все во имя свободы. В Италии, куда он последовал за своим вождем, каждая пядь земли еще сохраняла следы великого борца. Чтобы вспахать ее для семян свободы, он взрыл каждую глыбу родной земли своим мечом.

Теперь, в пятьдесят лет, пылкий и властный боролся он в римской палате за красного генерала. Он был строен и гибок, с большими, голубыми, как бирюза, глазами. Рыжая бородка плясала при каждой гримасе нетерпеливых губ, белые, как снег, волосы вздымались над узким лбом.

Он попросил гостеприимства у герцогини; отели ему не по средствам, сказал он. Он был очень беден, так как отдал свободе человеческого рода не только молодость, но и состояние.

Он тотчас же принялся сопровождать Павица в его агитационных поездках по стране. Он употреблял более решительные слова, чем трибун, кричал еще громче, кипел, размахивал руками, возбуждал к восстанию, подстрекал к дракам и, после отчаянного сопротивления, шествовал между двумя деревенскими полицейскими к какому-нибудь жандармскому посту, где, презрительно кривя губы, бросал свое имя: «Маркиз ди Сан Бакко, полковник итальянской армии, кавалер ордена итальянской короны, депутат парламента в Риме». Телеграмма из Зары освобождала его. Он возвращался домой и, неутомимо шагая взад и вперед перед герцогиней, высоким, сдавленным, привыкшим к команде голосом, отрывисто выкрикивал:

— Да здравствует свободное слово!.. Слова должны быть так же наготове, как и мечи!.. Молчат только трусы!.. Тираны и завязанные рты!..

Мало-помалу он успокаивался и, все еще на ногах, стоя спиной к камину, мирно и с умеренными жестами рассказывал о завоевании большой бразильской сумаки. Само собой разумеется, что по отношению к пассажирам и, в особенности, к женщинам он вел себя, как рыцарь. К несчастью, его задержали, когда он хотел продать в городе награбленный кофе. Его привели полуголого к губернатору.

— Я плюнул негодяю в лицо, и он велел привязать меня за руки к качавшейся в воздухе веревке, на которой я провисел два часа.

Спустя три недели он уехал, и герцогиня с сожалением рассталась с ним.

\* \* \*

Павиц учил ее морлакскому языку, он читал ей песни о пестрых оленях и о златокудрой Созе, о гайдуках, о горных духах на омываемых волнами утесах и о матерях, плачущих под апельсинными деревьями. Эта неясная, мягкая, мечтательная поэзия, которую она понимала наполовину и которую он окутывал ее день за днем, усыпляла ее рассудительный ум; славянские слова, певуче произносимые его нежным, обольстительным голосом, возбуждали и обессиливали ее. Она чувствовала себя как женщина со спутавшимися кудрями в теплой ванне, глядящая усталыми глазами на жемчужины, плавающие в воде. Павиц становился тем более пылким, чем тише была она. Он бурно восхвалял свой народ и восторженными глазами смотрел на прекрасное лицо дамы на подушках перед собой. Он целовал ее руку, касался ее платья, даже ее волос; казалось, что он все еще ласкает свой народ.

Она видела, как он краснеет, дрожит, умолкает в простоте своего сердца. Она вспоминала признания, которые слышала в Вене и Париже, все те мольбы и угрозы, которые замирали у ее ног, отскакивая от ее панциря, и она находила Павица менее смешным, чем остальных. — Что я могла дать тем? Они сами не знали этого, безумцы. Этот знает, чего хочет от меня: я должна помочь ему победить его врагов.

Вначале он приводил с собой мальчика. Болезненное, некрасивое создание сидело в углу; герцогиня никогда не обращала на него внимания. В один прекрасный день Павиц пришел без ребенка.

Ранней весной, в церковный праздник, она поехала с ним в Бенковац. Над каменистыми, лишенными деревьев, полями носился резкий, возбуждающий, дувший с моря ветер. Золотые огни падали из мчавшихся туч на полную ожидания землю, вдруг загоравшуюся и сейчас же опять погасшую. В деревне их экипаж с трудом двигался по острым камням. Грязные дворы лежали в запустении за своими поросшими терновником стенами.

Крестьяне ждали у харчевни. Павиц тотчас же вскочил на стол, они пестрой толпой окружили его, лениво глазея.

Павиц заговорил. С первых же его слов воцарилась тишина, и в передних рядах кто-то шумно хлопнул себя по колену. Сзади кто-то захохотал. Несколько морлаков предоставили плащам, которые прежде зябко запахивали, развеваться по ветру и размахивали руками в воздухе. Кроаты с полными овощей возами остановились, с любопытством прислушиваясь. Подошли с враждебным видом два полицейских в красном, увешанные серебряными медалями, и со стуком поставили ружья на землю. Герцогиня смотрела из-за занавески открытого окна кареты.

Павиц говорил. Чей-то осел вырвался, опрокинул несколько человек и бросился к столу трибуна. Павиц, не задумываясь, сравнил с ним всех своих противников. — Стойте твердо, как стою я! — Он грозил и проклинал с взъерошенной бородой и заломленными руками, он благословлял и обещал с лицом, с которого струился чающий блаженства свет. Неуверенный ропот прошел по толпе слушателей, неподвижные глаза заблестели. Оборванные пастухи издавали нечленораздельные звуки. Три торговца скотом, в цветных тюрбанах, гремели револьверами и кинжалами. Павиц, дико размахивая руками, наклонился так далеко вперед, как будто хотел улететь, пронесясь над собравшимися. В следующее мгновение он легко и упруго носился у противоположного конца стола. Его жаждущий взгляд и все его тело тянулись к покоренному народу; каждый в отдельности, затаив дыхание, чувствовал его объятие. Куда обращался он, туда склонялись размягченные, безвольные тела всех этих созданий. Они жалобно улыбались.

Павиц говорил. Он стоял в чаду душ. Полицейские, с обезоруженными глуповатыми лицами, небрежно держали ружья и не отрывались от рта трибуна. Кобургская династия потеряла двух защитников. Вдруг он откинул назад голову и распростер руки. Его широкая борода, пылающая на солнце, поднялась лопатой кверху. Глаза запали под усталыми веками и померкли, в последней судороге дрогнули серые губы. Он был похож на Христа. Женщины перекрестились, схватились за грудь и жалобно завыли. Послышались проклятия и молитвы. Герцогиня смотрела на все это, как на игру стихий, волнующихся и замирающих, отдаваясь созерцанию этого зрелища без рассуждений и критики. С этим человеком дышала, стонала, томилась, хрипела, кричала и умирала вся природа.

Вдруг он очутился у дверцы кареты. Он вскочил в нее, и они помчались галопом. За ними раздавались яростные крики толпы. Они откинули верх и подставили лица ветру и солнцу. Герцогиня молчала с серьезным выражением в глазах, Павиц тяжело дышал. Перед ними и сзади них среди камней катился сверкающий поток проезжей дороги. С одного из ее подъемов они увидели вдали блестящую полосу моря.

Вдруг из кучи щебня выскочило что-то, — что-то оборванное, безумное, перед чем лошади в страхе отшатнулись. Это была женщина с седыми космами; она размахивала мертвой головой, которую держала за длинные волосы. Она пронзительно выкрикивала что-то непонятное, все одно и то же, и цеплялась за колеса экипажа. Павиц крикнул:

— Ты уже опять здесь! Я не могу тебе помочь, иди и будь благоразумна!

Герцогиня велела кучеру остановиться.

— Что она кричит? Мне послышалось: «справедливости»?

Старуха одним прыжком очутилась возле нее и поднесла череп к самому ее лицу.

— Ваша светлость, это сумасшедшая! — пробормотал Павиц.

Женщина завопила:

— Справедливости! Смотри, это он, Лацика, мой сынок. Они убили его и еще живы! Матушка, я люблю тебя, помоги мне отомстить.

— Замолчи, наконец! — приказал Павиц. — Этому уже тридцать лет, и они были на каторге.

— Но они живы! — ревела мать. — Они живы, а он убит! Справедливости!

Герцогиня не сводила глаз с мертвой головы. Павиц попросил:

— Ваша светлость, позвольте мне прекратить эту сцену.

Он сделал знак, лошади тронули. Платье старухи запуталось в спицах колес, она упала. Раздался ужасный треск; колесо прошло по черепу. Они были уже далеко; за ними с визгом каталась по белой пыли куча лохмотьев над осколками головы сына. Герцогиня отвернулась, бледнея.

— Тридцать лет, — сказал Павиц, — и все еще жаждет мести! Мы христиане, мы хотим милосердия.

Герцогиня ответила:

— Нет, не милосердия. Я за справедливость.

Она не произнесла больше ни слова. Она попыталась улыбнуться над тем, каким трагическим казалось сегодня все, но ее пугал этот час, в течение которого произошло так много необыкновенного. Она не решалась оглянуться на Павица.

Павиц думал о бедном студенте, бродившем по Падуе, робко и приниженно, так как принадлежал к приниженной расе. — Теперь вы в моих руках! — ликовал он. — Герцогиня Асси на моей стороне. — Он думал о больном честолюбии маленького адвоката, которому иногда позволяли сказать несколько смелых слов. Затем власти натягивали вожжи; он голодал, он сидел в тюрьме, над его угрозами издевались. Теперь атласная подкладка его черного пальто лежала на сшитом в Вене сюртуке. Когда он проезжал мимо, люди становились глубоко серьезными, потому что он сидел, развалившись в карете герцогини Асси. Что оставалось невозможным в это мгновение? Ах, немало женщин, тоже прекрасных и богатых, зажженных его речами, прокрадывалось к нему, моля о милостыне объятий. Перед глазами у него вдруг пошли красные круги, ему казалось, что он теряет сознание, и он впервые сказал себе, что хочет обладать герцогиней Асси.

Всю дорогу Павиц наслаждался мыслью о своей редкой романтической личности. Он трепетал и растворялся в этом чувстве.

Приехав, они тотчас же сели за стол. После совершенной тяжелой легочной и мускульной работы трибун усиленно ел и пил. Герцогиня смотрела на свет свечи. Затем в ее комнате, сытый и возбужденный, он снова вернулся к триумфу дня. Он повторял ей отдельные блестящие места, и овации, последовавшие за ними, опять звучали у нее в ушах. Она снова видела его, высоко над всеми, в грозной позе на фоне мчавшихся облаков, видела героя, которого не могла ни в чем упрекнуть, героя могучего и достойного удивления. Теперь он ликовал и повелевал у ее ног; его гордые клики свободы возносились к ней из влажных, красных, жаждущих губ.

И, наконец, между двумя объяснениями в любви к своему народу, он овладел ею. На спинке дивана, на котором это произошло, была большая золотая герцогская корона. В минуты блаженства мысли Павица были прикованы к этой герцогской короне.

Сейчас же вслед за этим его охватило безграничное изумление перед тем, что он осмелился сделать. Он пролепетал:

— Благодарю, ваша светлость, благодарю, Виоланта!

И, умиляясь сам своими словами, все горячее:

— Благодарю, благодарю, Виоланта, за то, что ты сделала это для меня! Великолепная, добрая Виоланта!

Но ее глаза, обведенные темными кругами, безучастно смотрели вперед, мимо него. Ее волосы пришли в беспорядок; они неподвижными, темными волнами висели вокруг ужасающе бледного лица. Судорожно вытянутыми руками она опиралась о края дивана. Концы ее пальцев разрывали узорчатую ткань.

Павиц извивался в страхе и раскаянии:

— Что я сделал! — крикнул он самому себе. — Я скотина! Теперь все погибло! — Он удвоил свои старания: — Прости мне, Виоланта, прости! Я не виноват, это судьба... Да, это судьба бросила меня к твоим ногам. Я буду служить тебе... Как я буду служить тебе, Виоланта! Я буду целовать пыль на подоле твоего платья и, умирая, положу голову под каблуки твоих башмаков, Виоланта!

Он добивался, опьяненный своими собственными словами, хоть одного ее взгляда. После долгого молчания она провела двумя пальцами по лбу и сказала:

— Оставьте меня, я хочу быть одна.

— Ты не прощаешь мне? О, Виоланта, будь милосердна!

Она пожала плечами. Он молил со слезами в голосе:

— Только одно слово, что ты не проклинаешь меня, Виоланта! Ты не проклинаешь меня?

— Нет, нет.

Она, не в силах больше переносить этой сцены, поворачивала голову то в одну, то в другую сторону.

— Теперь уходите.

Он ушел, наконец, тяжелыми шагами, с расслабленным телом, весь расплывшись в чувстве и не переставая бормотать:

— Благодарю... Прощай... Прощай... Благодарю.

Она тотчас же отправилась в свою спальню. Она отослала камеристку и стала раздеваться сама. После случившегося всякое соприкосновение с человеческой кожей было ей противно. Но ее руки еле двигались; она все больше погружалась в мысли. Ее удивление было так сильно, как и его, но без всякой примеси удовлетворения.

Значит, это — все? Все, что она должна была узнать? «Я хотела бы лучше не узнавать этого... Впрочем, все это смешно». Она хотела скривить рот в улыбку, но к горлу у нее подступила тошнота. Затем она вспомнила, что Павиц все время называл ее Виолантой. С чего это он вздумал? Неужели он на основании случившегося вообразил себе что-нибудь? Разве такой низменный акт дает право на словесные нежности и душевную близость?

Она срывала непокорные покровы и бросала их на кучу кисейных и шелковых тканей, второпях оставленных служанками у ног ее постели. Вдруг под этой кучей что-то зашевелилось. Герцогиня быстро подошла. Оттуда что-то карабкалось: маленькая причудливая фигура запуталась своей шпагой в тканях. Наконец перед ней очутился принц Фили, в трико, берете и голубом атласном камзоле, с толстыми золотыми цветами на белом, подбитом соболем воротнике. Он очень боялся.

— Вот и я, — прошептал он.

Ее нервное раздражение нашло себе выход.

— Как вы попали сюда? Сию минуту убирайтесь!

— Вы, значит, все-таки рассердились? — спросил он. — Перкосини говорил мне, что вы рассердитесь, но что я мог сделать? Почему вы никогда не принимали меня, герцогиня, и к моей жене вы тоже, злая, не приходили больше.

— Уходите. Я дам знать принцессе.

Фили был поражен.

— Простите, прошу вас, простите! Перкосини думал, что вы ничего не скажете... Если бы я знал!

— Вон!

— Прежде простите мне, герцогиня. Простите, прошу вас, прошу вас.

Она откинула назад голову. Опять то же самое снова? Она подступила к наследнику престола и резко схватила его за руки.

— Я прикажу отвезти вас домой в моем экипаже с запиской к вашей жене. Слышите?

Почувствовав теплый аромат ее расстегнутого корсажа, Фили ослабел. Он побледнел, колени у него подогнулись, и он не падал только потому, что она держала его за руки. Он клянчил:

— Не сердитесь, дорогая герцогиня, ведь вы знаете, я давно хотел придти к вам в костюме дон Карлоса. Но женщины никогда не выпускали меня. Со мной уж совсем было плохо, и я думал: если ты теперь пойдешь к ней, пожалуй, еще оскандалишься, и тогда все будет кончено. Последние дни я опять хоть куда, а вы выставляете меня за дверь...

Она толкала его к двери. Едва она выпустила его, он мягко упал, как марионетка. Он поднял ручонки» громко плача:

— Разве вы не видите, какой я несчастный! На тронах — вы знаете это, герцогиня, — тоже не весело живется. Меня они последнее время так измучили — и я всегда думал о вас, как о мадонне. Если вы прогоните меня, я умру, у меня такие мрачные предчувствия. Не отвергайте меня...

Она села на край постели. Ее силы были исчерпаны: то, что она переживала, уже не казалось ей ни противным, ни даже смешным. Из жажды животного соприкосновения с ее телом холодные, изящные кавалеры в Париже убивали себя и друг друга. Было естественно, что жалкое существо, валявшееся на полу, умирало от этого. Но стоило ли слушать дольше его нытье? То, чего он просил, было так ничтожно... От усталости, досады и невыразимого презрения она была почти готова уступить ему. Но перед ней встало бесцветное лицо Фридерики Шведской, молящей прерывающимся голосом.

Принц вытер слезы и поднялся. Она спросила уже совершенно спокойно:

— Вы уходите, ваше высочество?

— Я иду, иду.

Он печально кивнул головой.

— Так вы решительно не хотите, герцогиня?

Она взяла в руку шнурок звонка.

— Я иду, иду уже, — пробормотал Фили. — Чтобы только из-за этого не вышло между нами недоразумений.

И он исчез.

Под утро она задремала. В последующие дни она почти не вспоминала о наследнике престола. Она не думала о Павице. Зато она еще пережила в воображении множество старых событий. Разговоры, которые велись когда-то в Париже или Вене, она слышала опять от первого до последнего слова: теперь они все получили неожиданное значение. Люди снова вставали перед ней. Ведь то были поклонники... и это тоже. А тот был обманутым мужем. Тогда она смотрела на все это, улыбаясь, точно во сне. Ключ от этих удивительных снов только теперь случайно попал ей в руки. И она отпирала каждый отдельно. Она бродила по комнатам в необыкновенно веселом настроении, выкапывала из уголков своей памяти одну забытую шутку за другой и вдруг понимала их все. Точно запоздавшее на годы эхо, раздавался по залам ее одинокий смех.

III

Принцесса Фридерика не раз приглашала герцогиню Асси в свой cercle intime. Так как это не помогало, она послала камергера Перкосини сделать ей дружеские представления. Перкосини дал понять, что, по мнению ее высочества, герцогиня держится вдали от двора, желая избавить наследника престола от искушения. За такую деликатность сердца принцесса бесконечно благодарна герцогине; но в данный момент бояться нечего. Его высочество лишили спиртных напитков, — интимно сообщил камергер, — и в настоящее время его высочество совершенно безопасен.

В другой раз он осведомился от имени принцессы, почему герцогиня никогда не является на вязальные вечера у Dames du Sacre Coeur. Это имело бы такое значение для них обеих: совместная работа для народа сблизила бы их. Перкосини прибавил, скептически улыбаясь:

— Под этим ее высочество подразумевает суп и шерстяные куртки.

Принц Фили писал ей жалобные письма. Он знает, что она готовит гибель его династии, но он и не желает ничего лучшего. Лишь бы только она ему простила.

Король Николай завязал с прекрасной противницей переговоры, оставшиеся безрезультатными. Он дал Павицу и Рущуку орден своего дома. Трибун не принял его, финансист после трехдневной душевной борьбы отослал его обратно. Каждый раз, как ее экипаж встречался с экипажем короля, старый господин кланялся ей со снисходительной улыбкой. Беата Шнакен глубоко прятала двойной подбородок в кружевной воротник. В этом жесте выражалось искреннее уважение и добровольное признание превосходства. Во время одного из концертов Сарасате она на глазах у всех встала со своего привилегированного места и предложила его вошедшей герцогине Асси.

Добродушие всех этих людей раздражало герцогиню. Она хотела борьбы и чувствовала себя парализованной вежливостью противников, которые вовсе не сопротивлялись. — Долго ли я еще буду щекотать вас? — спрашивала она. — Я хочу видеть вас разъяренными! Ваша покладистость противна мне. Такие мягкие господа, как вы, не должны больше беспрепятственно господствовать; это было бы несправедливо. Если далее это только мой каприз. Когда-то, в Париже, я так дразнила Леопольда Тауна, что он хотел убить меня. А я даже не знала, чем мне это удавалось сделать: я только играла. Теперь я хочу довести до этого и вас: это моя игра. — Ее «придворный жид» иногда переставал забавлять ее, она без всякого удовольствия слушала сообщения о новых стычках между крестьянами и войсками и о мятежных полках; тирады Павица заставляли ее зевать. Но затем из пелены скуки и ограниченности, за которой они скрывались, выступали друзья наследника престола и его жены. Она видела опять всех этих людей с их неповоротливыми умами, видела их чванство и осторожные колебания между резней и рукоделиями, и тотчас же кровь в ней снова загоралась и она чувствовала новый заманчивый смысл в словах: «Свобода, справедливость, просвещение, благосостояние».

\* \* \*

В их лагере появились первые энтузиасты, молодые люди из хороших домов, мечтавшие о прогрессе и о бледном, смелом лице герцогини Асси. Лейтенанты изменяли своему знамени и, бледные и решительные, шли на маленькие заговорщицкие собрания на Пиацца делла Колонна. Мало-помалу стали приходить и люди рассудительные, высшие чиновники и придворные, которым казалось неблагоразумным безусловно вверять свое будущее счастью Кобургской династии. Когда где-нибудь в стране побеждало войско, некоторые из них сейчас же исчезали.

Еще прежде этих энтузиастов уверил герцогиню в своей полной преданности барон Перкосини. Каждый визит, который он делал ей по поручению принцессы, прибавлял что-нибудь к его лицемерному вероломству. Незаметно, между пошлыми, любезными фразами, он дошел до шпионских услуг. Впрочем, герцогиня сознавала, что он шпионит за ней точно так же, как за своими господами. Он рассказывал ей о попытках, которые предприняли, наконец, для ее уничтожения те, кому она угрожала. Она и без того знала от друзей, которые у нее были при всех дворах, что представители короля Николая жаловались на нее. Они ничего не добились, своими связями среди интернациональной высшей аристократии. Герцогиня была лучше защищена, чем царствующая фамилия волей нескольких европейских государственных мужей. Партия Кобургов имела за себя всюду только кабинеты, партия Асси — камарильи. Деньги Рущука действовали в иностранных столицах быстрее, чем поступавшие из Зары депеши. К тому же европейский мир был важнее судьбы Николая, Фридерики, Филиппа, Беаты. Из этих четырех наиболее сильной выказала себя Беата.

Она немедля уехала для завоевания министра одной из держав, который как раз в это время путешествовал по Италии. Это был мягкий набожный человек; она чуть не растрогала его таким же самым образом, как когда-то короля Николая. В последнюю минуту перед падением он вспомнил о долге и бежал от искусительницы, не останавливаясь ни днем, ни ночью.

Герцогиню позабавила эта история.

— Если бы этот человек оказался менее сильным, — сказала она, — что тогда? Я должна была бы вступить в соревнование с фрейлейн Шнакен, и все свелось бы к вопросу: предпочитает ли его превосходительство белокурые волосы или темные? Господа, женская политика несложна.

\* \* \*

Но Партия Асси, став сильнее, начала делать ошибки. Первой было внезапное улучшение в управлении поместьями герцогини. Оно было устроено замысловато. Под началом у генерального арендатора находилось некоторое количество арендаторов, эти последние располагали большим количеством подарендаторов, а отдельные подарендаторы командовали своими надсмотрщиками, которые непосредственно господствовали над крестьянами. Надсмотрщики отбирали у крестьян почти весь урожай и отдавали большую часть его подарендаторам, которые, за вычетом своей доли, вручали его арендаторам, эти последние препровождали большую часть полученного генеральному арендатору. Таким образом каждый кормил своего начальника, а все вместе жили от крестьян. Никто не находил в этом ничего предосудительного, только Рущуку генеральный арендатор показался слишком богатым и влиятельным: они привыкли ненавидеть друг друга на бирже. Он возбудил несколько приверженцев герцогини против системы латифундий. Павиц поддерживал его своим красноречием. Герцогиня была радостно поражена. Один энергичный поступок давал ей возможность ввести справедливость в собственных владениях. Один сангвинический росчерк пера устранял целое войско арендаторов. Неделю спустя, по всей Далмации горели виноградники, оливковые деревья за ночь превратились в обломки. Уволенная мелкота устраивала беспорядки в деревнях, более крупные шумели в городах. То, что у них оставалось от урожая, крестьяне должны были отдать за бесценок союзу арендаторов: эти последние угрожали покупателям. Сборщики, хотевшие взыскать долю герцогской кассы, были встречены камнями и ружейными выстрелами.

Герцогиня не могла надивиться.

— Народ остается загадкой. Очевидно, он привык быть эксплуатируемым и не хочет справедливости. Сколько у него оставалось прежде от дохода с его работы?

— Едва двадцатая часть.

— Я оставляю ему половину, и он забрасывает меня камнями. Что бы он сделал, если бы я подарила ему все?

Рущук тонко улыбнулся.

— Ваша светлость, это было бы нашей смертью.

При поднятой уволенными чиновниками в прессе буре всколыхнулось не одно болото. Любопытные газетчики, под брызгами грязи заглядывавшие в глубину ее экипажа, чтобы увидеть, какие цветы на ней сегодня, называли герцогиню Асси деклассированной. Знакомство с Павицем и Рущуком деклассировало ее, по их словам. Павиц был настолько бестактен, что попросил у нее за это прощения. Она пожала плечами.

— Какой же класс — мой?

Знакомство с ним не могло ни в каком случае навлечь на нее позор, — в этом Павиц был убежден. Что касается ее отношений к Рущуку, то здесь его мнение было не так твердо. Он предложил ей призвать другого финансиста, например, уволенного генерального арендатора; этим можно было бы поправить многое. Она не согласилась.

— Я буду делать все, что найду нужным для блага народа. Но какое дело народу до того, какими людьми я себя окружаю?

Она указала на высокую, стройную собаку, спокойно смотревшую на нее.

— Неужели я должна позволить отнять у себя Шармана? Так же мало может народ требовать, чтобы я отпустила своего придворного жида.

\* \* \*

Он стоил ей дорого. У Рущука была любовница — актриса, которой хотелось упрятать в дом умалишенных своего законного мужа, пользовавшегося популярностью актера. Финансист сумел внушить это ее желание врачам. К несчастью, несколько времени спустя обнаружилось, что заточенный актер совершенно здоров. Беата Шнакен, тронутая судьбой товарища, открыла своему царственному другу все темные проделки. Освобождение жертвы и ее первое выступление на сцене придворного театра было торжеством ее и царствующего дома, поражением герцогини. Была поставлена антисемитская пьеса, в которой вернувшийся играл роль насильно запертого в доме умалишенных. Интриган был загримирован под Рущука, а пьеса была полна злых намеков на высокопоставленную даму, скрывающуюся за всем этим. Народ ликовал, пятьдесят вечеров подряд переполняя театр, скандал был огромный. Беату, благородную спасительницу, бурно приветствовали при каждом появлении на улице. Герцогиня встречала всюду холодные взгляды, и Рущук, нигде не показывавшийся, сокрушенно вычислял, какие чудовищные суммы денег понадобятся, чтобы победить эту холодность.

\* \* \*

Павиц работал, как одержимый, но полиция собралась с духом и закрыла ему рот. Он опять, как когда-то, слышал вдали скрип тюремных ворот. Войска тоже стали проявлять большую наклонность к насильственным действиям. Зимой вблизи Спалато дошло до настоящей битвы. Там месть арендаторов повлекла за собой голод. Разъяренный народ бросился на солдат с косами и кольями. Солдаты потеряли пятьдесят человек, но убили или ранили двойное количество крестьян.

В одно из воскресений весть об этом пришла в Зару. Небо мрачно нависало над городом. На улицах почти не видно было экипажей. Одетая в черное толпа двигалась между домами, переговариваясь шепотом; слышно было журчание фонтанов. Удушливый сирокко лениво скользил над головами, отнимая мужество.

Неожиданно, точно по молчаливому соглашению, все дошли до Пиацца делла Колонна и остановились там, тихие, печальные и непокорные. Вдруг на опрокинутой тележке очутился Павиц, он прислонился спиной к двухтысячелетней колонне и начал говорить. В первый раз после многих недель его слова опять сопровождал ропот возбужденных умов. Он опять чувствовал горячий трепет сердец и был счастлив. В это время на узких улицах показалась колонна пехоты, приближавшаяся беглым шагом. У входа на площадь она остановилась, примкнула штыки и медленно пошла вперед. Толпа отступила, бросилась в сторону и рассеялась по улицам. Только вокруг колонны столпилась кучка людей, окруженная солдатами: ее задержала ораторская трибуна. Штыки опрокинули все. Один из солдат угрожающе приставил свой штык к груди беспомощного старика. Это был отец одного убитого в Спалато; он еще ничего не видел от слез, которые вызвала у него на глаза речь Павица. Было очевидно, что он погиб. Павиц, ломая руки, громко заклинал нападающих. Но он понимал, чего требовали от него обращенные к нему бледные лица. — Спаси старика! — было написано на всех. Он отпрянул назад: его взгляд встретился со взглядом герцогини. Она лежала в раме окна и пристально смотрела на него. Она открыла рот и крикнула что-то; ее слова затерялись в испуганном крике народа. Но Павиц понял: — Спрыгни вниз! Закрой собой старика! — приказывала она. Старик уже лежал на земле, на его разорванной рубахе была кровь. Павиц схватился за сердце, бледный, как труп. Затем его нежную кожу вдруг залила краска. Он торопливо слез со своего пьедестала, схватил мальчика, сидевшего на корточках у колонны за его спиной, и исчез в портале дворца Асси.

Рущука, среди целой толпы зрителей, задержали два ухмылявшихся унтер-офицера. Его живот колыхался, цилиндр съехал на затылок, руки и ноги мучительно тряслись; он указывал на спешившего трибуна и лепетал в неудержимом страхе:

— Этот вот один сделал все, поверьте мне, господа! Я простой купец... Вообще я не имею ничего общего с этой дамой!

Павиц медленно, с опущенной головой поднялся по лестнице. На душе у него было так, как будто он, совершив позорное деяние, должен был предстать перед судом. Старик истекал кровью. Павиц содрогнулся, представив себе это. Он вспомнил господ Палиоюлаи и Тинтиновича, которые ворвались к нему и были избиты. О, он не сделал этого, как думала герцогиня, собственноручно. Он был не в силах сознаться ей, что избил до полусмерти изящных придворных его слуга, гигант-морлак. «Да, когда они уходили, — думал Павиц, поглощенный ужасным воспоминанием, — с их лбов сочились красные капли!»

— А ведь я силен! — пробормотал он перед дверью будуара.

Она быстро пошла ему навстречу.

Он неуверенно сказал:

— Ваша светлость, оплакивать приходится только одну жертву.

— Нет, две: крестьянина и вас!

Он вздрогнул и опустил глаза. Она была так же бледна, в рамке черных волос, и казалась такой же застывшей, как в тот день, когда он изнасиловал ее, как возмутившийся раб. Сегодня его совесть была еще менее чиста.

— Что одного крестьянина закололи, — сказала она, — это незначительная случайность. Но мое дело требовало, чтобы вы его спасли.

— Ваша светлость, я отец.

— Или, если вам это понятнее: вы позволяете любви народа окружать себя романтизмом, но для крестьянина, которого закалывают, вы не двинете пальцем.

Он схватил мальчика, державшего за фалды его сюртука, и толкнул его к ней.

— Ваша светлость, я отец!

— Ах, да, вечно ребенок! Вы невыразимо надоели мне своим ребенком. Неужели вы не можете взять ему бонну?

— Я очень люблю его...

Он прибавил задумчиво, почти удивленно, как будто только сейчас осознав это:

— Это именно и нравится народу...

— Тогда выбирайте между мной и народом!

— Ваша светлость! Значит, я должен был сделать своего ребенка сиротой и... и... принести себя в жертву?

— Разве это не разумеется само собой?

Она повернулась к нему спиной. Он задыхался. Неужели она не знает жалости? Он начал лепетать уверения:

— Пожертвовать собой... Да, конечно, я жертвую собою. Но неужели я должен дать себя на растерзание пьяным солдатам? Неужели нет более достойной жертвы? Ваша светлость, я ежедневно приношу жертвы ума и сердца. Меня и мое слово травят власти. Я должен буду с кровавыми слезами смотреть на муки моего народа сквозь решетки тюрьмы. Ваша светлость, я уже раз сидел в тюрьме...

Он напрасно ждал ответа.

— Кто жертвует собой, как я? А! Рущук! Герцогиня, послушайте. Рущук, — знаете, в каком виде я только что встретил его? Внизу, между двумя унтер-офицерами, — и он отрекался от вас! Обезумев от трусости, он сваливал все на меня, а от вас, герцогиня, он громогласно отрекался!

Она пожала плечами.

— Рущук! Он знает толк в денежных делах. Больше я ничего от него и не требую.

— А честь? Хочется уважать людей, с которыми имеешь дело.

— Мне это не нужно... Рущук у меня только для денег. Вы, доктор, говорите о свободе. Он может жить, как ростовщик, вы должны были, как свободный...

— ...умереть, — мысленно договорил он. Он не осмелился посмотреть ей вслед, когда она вышла из комнаты. Он предстал перед судом и был осужден.

На улице в нем вспыхнуло бессильное желание мести. — В конце концов, я все-таки обладал ею! — говорил он себе, сжимая кулаки в карманах пальто. — Было ошибкой, что я тогда выказал раскаяние! Я должен был унизить ее, сделать ей ясным, что случившееся существует и не может никогда перестать существовать. Ведь она делает вид, будто ничего не произошло!

Он напрасно храбрился, ему самому казалось, что ничего не произошло. Он не мог себе представить герцогиню Асси еще раз в своих объятиях. И лишь теперь желание стало мучить его. Тогда это было непредвиденным, отчаянно-смелым поступком, успехом опьяненного трибуна.

\* \* \*

Павиц только наполовину наслаждался теми великими событиями, которые теперь наступили.

Пятнадцатого января в честь святой, охранительницы Зарской епархии, была устроена процессия. Шествие двигалось от собора святой Анастасии по длинной прямой линии улиц до площади Святого Симона. Свернув на Пиацца Колонна, духовенство остановилось, чтобы подождать отставших. За монахами и нарядными школьниками следовал отряд солдат. За ними шли городские корпорации, за которыми опять маршировали солдаты. В торжественном отдалении колыхался балдахин архиепископа, шедшего между двумя викариями. За ним следовал в качестве представителя короля Николая принц Фили с непокрытой головой, окруженный придворным штатом. Затем опять мостовую топтали ряды пехоты. Беспорядочная толпа, непрерывно напирая, заполняла все входы на обширную площадь.

Все ждали; духовенство перестало петь. У открытой двери на террасу, в стороне от своих гостей, стояла герцогиня Асси. Прошло не больше трех минут, пока все, сколько их ни наполняло площадь, подняли на нее глаза. Под конец и архиепископ заметил, как тихо стало вокруг, и с улыбкой посмотрел вверх.

Тогда, начиная с задних рядов, где только что замер последний молитвенный ропот, по длинным человеческим колоннам прокатились другие звуки. Это был клич, захвативший горожан и солдат. Они слились в нем, их ряды смешались, и они руками и глазами обещали друг другу, что ни один из них не пошлет своих сыновей стрелять в отцов других, ни один не поднимет руки на одетого в мундир сына друга. Скорбь недавних событий вдруг опять склонила всех на сторону той женщины; они восклицали: — Да здравствует герцогиня Асси! — Одни кричали это с жаром, многие с рыданиями.

Положив правую руку на перила балкона, герцогиня смотрела на тысячи откинутых назад лиц, освещенных солнцем. Хоругви церквей и монастырей наполняли ослепительный воздух пышностью своего золотого шитья. Красно-золотая крыша балдахина князя церкви, точно колыбель бога, спускалась с голубого неба. Каски сверкали. Нежные крылья ангелов блестели на плечах маленьких девочек, посылавших герцогине воздушные поцелуи. Народ бросал ей приветствия, шапки и клятвы в любви; он ликовал; его пестрые ряды волновались. Вдруг сверкнула сталь шпаги: ее обнажил кто-то из свиты принца. Сейчас же засалютовали все шпаги; это было, точно полет серебряной птицы в полуденном свете. Сам Фили посылал воздушные поцелуи, как школьник.

Герцогиня поклонилась; солнечные лучи скользили по ее узким плечам. Процессия пошла дальше, она смотрела вслед ей со спокойным чувством власти.

Ей было тогда двадцать один год. От черных волос, откинутых назад тяжелой волной, на ее лоб падала голубоватая тень. На затылке изгибались густые косы. Брови шли слабо очерченными линиями, рот был неопределенный, с мягко сомкнутыми, бледными губами. Но подбородок и изгиб носа говорили о решительности. Голова была бедна красками, но богата серебристым очарованием света. Она подняла широкие веки: твердый, отливающий сталью голубой блеск, казалось, шел издалека, с далеких морей.

Павиц стоял позади нее, во фраке и белом галстуке, неподвижный и несколько рассеянный, как творец, не удостаивающий дать заметить, что все это дело его рук. Он закусил губы и приложил два пальца к переносице, защищаясь от ослепительного света или от гнета тяжелой мысли. Все окна двух барских этажей были заняты друзьями герцогини. Рущук, окруженный прекрасными женщинами, кланялся без устали. Он грациозно подносил ко рту желтый шелковый носовой платок; он вынул из петлицы камелию и бросил ее народу.

Целый день салоны палаццо Асси не пустели. Сотни людей влекло туда сегодня напомнить о себе могущественной женщине. Другие сотни лишь сегодня сознали необходимость выбирать между Кобургами и ею. Она приглашала всех придти вечером; она хотела в тот же день на многолюдном рауте сделать смотр своим. Хлопот было по горло, она хваталась за первых попавшихся и посылала их исполнять поручения. Раз, когда она открывала дверь передней, она наткнулась на офицера гигантского роста. Он поклонился, гремя шпорами.

— Майор фон Гиннерих!

Этот верный, суровый человек, ангел-хранитель бедного Фили! Она была поражена, увидя его здесь. Пришел ли он с честными намерениями? Одно мгновение она колебалась. Но фон Гиннерих, весь красный, смотрел на нее сердито и сочувственно. Все в нем дышало мужской верностью. Он долго боролся с собой; теперь он был бесповоротно на ее стороне. Его счастливая судьба устроила так, что его воодушевление герцогиней Асси прорвалось как раз в этот момент, когда ее дело было в наиболее благоприятном положении.

\* \* \*

Приемные вечера теперь непрерывно чередовались с балами. Палаццо Асси каждый вечер освещало весь город своим красным, праздничным сиянием. Рущук, прежде плативший за мятежи, теперь покупал народу постоянное радостное опьянение. По освещенным разноцветными огнями улицам шествовали музыканты, в кабаках лилось бесплатно вино, в гавани во мраке радостных ночей скользили украшенные венками и флагами лодки. Никто не помнил, чтобы мир когда-либо был так прекрасен; только несколько древних стариков говорили, что похоже на то, будто вернулись времена Венецианской республики.

На Пиацца Колонна теснилась за угощением благодарная толпа и смотрела, как подъезжали экипажи гостей. На ступеньках портала, не переставая, раздавался шелест шелка и бряцанье шпаг. Принц Фили слонялся вокруг без спутников и останавливал людей, со слезами на глазах расспрашивая их об удовольствиях в доме своего врага. Почему он не может быть там! Ведь он не может представить себе ничего более приятного, чем быть свергнутым и брошенным в тюрьму такой женщиной!

Друзья герцогини приезжали из Парижа и Вены посмотреть на далматскую революцию, точно на скачки или на первое представление. Они попадали в бальный зал, где, казалось, никто не думал о близких событиях. Сама герцогиня иногда вспоминала о них. Она испытывала при этом такое же слегка щекочущее чувство торжества, как когда-то, когда побеждала в вист какую-нибудь старую маркизу. Она тогда держала решающую карту еще мгновение в руке, поглядывая на растерянную старуху. Так и теперь, уверенная в исходе событий, она поглядывала на королевский дворец, где Николай и Беата, совершенно осиротевшие, блуждали по скудно-освещенным залам. В углу мерзла Фридерика.

\* \* \*

За завтраком в тесном кругу герцогиня с восхищением слушала турецкого посланника Измаила Ибн-Пашу; дородный, жизнерадостный человек рассказывал о судебной расправе в своем государстве.

— В Смирне ко мне приводят чернокожего; он, как сумасшедший, выскочил из мечети и всунул случайно проходившему европейцу длинный нож в живот. Он вращает белками глаз и клянется, что пророк во время молитвы приказал ему убить первого неверного, который ему встретится. Я отвечаю: — А мне пророк приказывает повесить тебя!

Посланник выпил бокал шампанского.

— Что вы хотите, герцогиня, против пророка помогает только пророк. И быстрый суд лучше мудрого суда. Одна бедная женщина выпила молоко, не принадлежащее ей. Я говорю только: «Распороть ей живот!»

Павиц, сидевший на другом конце стола, обратил внимание на маленького молодого лакея. Другие озабоченно сновали вокруг стола с блюдами и бутылками, он же неловко стоял, прислушиваясь к разговорам, и не отрывал взгляда от лица герцогини. Из блюда, которое он криво держал, на ковер капал соус. — Эй, послушай! — строго шепнул трибун. Лакей посмотрел на него, и Павиц вздрогнул. Не был ли это... это был принц Фили! Он повернулся к своим соседям, никто ничего не заметил. Тогда он опять внимательно посмотрел на маленького лакея. Конечно, это были беспомощные движения наследника престола, это были также его черты, только волос недоставало на бледных щеках. Павиц вдруг выпятил грудь, его накрахмаленная сорочка затрещала; он подставил свой стакан. — Эй, вы! — И он приказал молодому человеку наполнить стакан.

Вскоре после этого лакей исчез. Павица стали мучить сомнения, не дававшие ему покоя. Он должен был поговорить с кем-нибудь об этой истории. Его высмеяли: принц Фили — лакей! Не страдает ли он галлюцинациями? Но Павиц настаивал, что ему прислуживал за столом наследник престола; он не был склонен отказаться от этого удовольствия. На следующий день этому верило полгорода. Стало известно также, что король Николай потерял терпение и дал пощечину своему наследнику. Довольно долго Фили нигде не было видно. Когда он опять показался, его борода была еще очень коротка.

Эта история была чересчур скандальная, она заставила многих внезапно понять положение вещей. Игра, которую герцогиня и окружающие ее вели с заслуженной династией Кобургов, с почтенным королем Николаем, была признана недостойной. Многие покинули партию Асси.

\* \* \*

Затем последовало происшествие с юным Брабанцине. Этот восемнадцатилетний дворянин только что вышел из монастыря, где воспитывался. Он сидел на представлении Фру-Фру. Беата Шнакен вошла в свою ложу: судьба юноши была решена. Он посетил ее и у ее ног в неловком лепете излил свое первое желание. Зрелое сердце Беаты благодарно пило этот редкий элексир, но не могла же она ради бурного юноши отказаться от своих многолетних принципов. Внутри страны не должно было происходить ничего. Она дала понять это своему поклоннику, прибавив, что для поездки за границу политика не оставляет ей времени.

Два дня спустя бедный Брабанцине, катаясь на лодке, утонул. В то же время Беата Шнакен получила от него письмо, которое в порыве первого горя дала прочесть окружающим. Это печальное происшествие опять показало всем, как симпатична Беата. У гроба ее несчастного возлюбленного мать его заключила ее в объятия. На Беате была длинная, черная креповая вуаль, а музыка играла отрывки из какой-то оперы. Общие слезы обеих женщин, матери молодого человека и возлюбленной, из-за которой он умер, показались всем необыкновено трогательными. Они вернули династии Кобургов бесчисленное количество сердец.

Герцогиня вполне понимала Беату; только мать была ей непонятна. Эта мелодраматическая душевная доброта, при которой вместе с гневом умолкала и гордость и мертвые терпели несправедливость, вызывала в ней холодное и враждебное отношение. Она высказала это, ее сочли завистливой.

Она была того мнения, что ее счастье давно переросло такие превратности. Ее не беспокоило, когда она видела в толпе народа недовольные лица. Она решила при случае дружески высказать ему правду.

\* \* \*

В конце мая она провела несколько утренних часов в гареме паши, у madame Фатмы, его супруги, к которой относилась с симпатией, иногда удивляясь ей, иногда же чувствуя в ней что-то родственное. Фатма была ребенком, который, в парижских туалетах, играл с самим собой, как с куклой: в глубине души она никогда не снимала широких шелковых шаровар. Она робко и похотливо мечтала обо всех мужчинах, с которыми встречалась в обществе, и считала всех живших невзаперти женщин гетерами. По натуре она была истинной демократкой и не знала различий между людьми. У дороги, по которой однажды проходили герцогиня Асси и принцесса Фатма, сидел турок-нищий. Он ел из миски бобы и в виде приветствия произнес обычное у него на родине «будь моим гостем»! Принцесса была голодна, от кушанья шел запах хорошего масла. Она велела подать себе миску и поднесла ко рту ложку нищего. Она не придавала большого значения человеческой жизни и считала более важным, чтобы каждый делал для своего развлечения все, что может. Она рассказывала своей подруге:

— В Смирне у моего мужа было множество маленьких мамелюков, которые росли во дворце. А на балюстраде нашего балкона стояли большие мраморные ядра. Время от времени паша призывал мамелюков на балкон и мерил их. Кто был ниже, чем мраморные ядра, получал золотую монету. Если же кто-нибудь был выше — голову долой.

Она звонко щебетала:

— Эту игру мой муж выдумал сам.

Герцогиня оставалась серьезной. Она размышляла, отвратительно ли такое равнодушное отношение к смерти или величественно, и не могла решить этого.

Было жарко. Обе дамы сидели в облаках сладких курений на низких диванах, к которым вели три алебастровых ступени. В комнате не было окна; дверь, выходившая на залитый солнцем двор, была открыта, перед ней висели гирлянды вьющихся роз, которые входивший должен был откинуть. На дворе, по мраморным плитам, скользили жирные негры, с красными повязками вокруг бедер. Рабыни, белее колонн, за которыми проходили, покачиваясь в бледных шелках, несли на головах бронзовые чаши, придерживая их рукой. Вытянутые руки сверкали напрягшимися мускулами. Подмышки отливало золотом. Одна из них принесла на чашах из ляпис-лазури секер-лукум а рахат-лукум, чудесные «яства отдохновения», оставлявшие на языке, на котором они таяли, тихое предвкушение рая. Другая, быстро скользнув по комнате на розовых пальцах, оставила за собой дивные благоухания: казалось, они исходили из кончиков ее пальцев.

Герцогиня чувствовала себя хорошо в этом забытом уголке, где краски, как-будто освещенные искусственным солнцем, и размеренные, точно в танце, движения смешивались, словно во сне. «Если бы у меня не было столько дела!» — внезапно подумала она. Ее подруга вздохнула.

— Фатма очень несчастна. Ее желание не будет никогда утолено.

— Какое желание, маленькая Фатма?

Турчанка прошептала ей на ухо:

— Недавно у меня был здесь мужчина!

— Не может быть! Кто же?

— О, только принц Фили. Потому что, ты знаешь, у него теперь нет бороды. Я одела его, как красавицу девушку. Я думала о паше и чуть не задыхалась от удовольствия. Но, конечно — он не мог. Наконец-то мужчина в гареме, и он никуда не годится.

— Фили... оказался непригодным?

— Совершенно.

— Какая досада. Значит, в другой раз. Но разве тебе так необходимо обмануть твоего мужа?

— Ведь он утверждал, что в гареме мне это никогда не удастся. Разве это не должно оскорблять меня? А он сам — то, что принадлежит мне, дает всем рабыням. А! Я отучу его от этого. Посмотри-ка вот на ту высокую блондинку под пальмой. Она новая, она нравится паше. Третьего дня ночью он хочет к ней, ему стыдно, и он крадется в темноте. На углу длинного коридора, где спят они все, я подстерегаю его и одним толчком опрокидываю прямо в бассейн. Он фыркает и кричит. Когда евнухи приходят с огнем, я уже давно в постели. А у него — ты, конечно, понимаешь — прошла всякая охота.

Герцогиня представила себе беспомощного пашу, на пылающее любовью брюшко которого с журчаньем падала струя. Она звонко, безудержно расхохоталась.

— Прежде мы были не так безобидны, — пояснила Фатма. — Мы не угощали душем, мы давали яд. Ты знаешь старуху, которая сидит во дворе?

Увешанная мишурой старуха сидела, скорчившись, на солнце, положив желтые ноги на серебряную жаровню. Она наводила страх своей трясущейся, изможденной безволосой головой с щелкавшей нижней челюстью.

— Это была знаменитая мать Зюлейка паши. Скольких соперниц она отравила, чтобы у нее родился ребенок и чтобы ее ребенок мог стать пашой! А были ли у нее в гареме мужчины? Ни один не выдал ее, потому что утром она сносила ему голову долой.

— Вечно голову долой, — сказала герцогиня пожимая плечами, и простилась.

Когда она проезжала мимо овощного рынка, оттуда только что увели убийцу. Народ стоял сплоченными группами и говорил о том, что произошло. «Булочник платит ему его жалованье. Два франка десять, — говорит он. — Мне следует два франка пятнадцать! — Нет, два франка десять, — говорит булочник. Тогда он вытаскивает револьвер и убивает хозяина на месте».

Лошади герцогини должны были идти шагом. Стоявшие кругом вытягивали шеи, чтобы разглядеть ее. Некоторые снимали шапки, другие открыто отворачивались. — Кричите же «ура!» — воскликнул какой-то простодушный рабочий. Несколько человек крикнули, но большая часть угрюмо молчала. Какой-то дюжий морлак, которому, верно, повредили даровые обеды, сказал медленно и громко: — Черт бы побрал тебя, матушка!

«Попробую», — подумала она и велела кучеру остановиться. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Она только что покинула богатый красками тихий уголок, где под вздохи сладострастия и звон кинжалов отдавались приказания рабам в прекрасных одеждах. А теперь она хотела учить Свободе кучку оборванной черни и увлечь ее к государственному перевороту. Еще с ароматом гарема в волосах и одежде, с его грезами перед глазами, она начала свою речь к народу.

— Я слышала, — немного нехотя сказала она через головы слушавших, — что вы теперь иногда недовольны мной. Но у вас нет ни малейшего права на это...

— Нет, конечно, нет, — пролепетал какой-то пьяный, размахивая бутылкой. Его соседи захохотали.

Герцогиня продолжала:

— Вам желают добра. Я всегда буду давать вам только то, что вам нужно. Происходит ли что-нибудь помимо этого, топятся ли молодые люди или срезают себе бороды, об этом вам нечего беспокоиться, потому что вас это нисколько не касается. Давайте же спокойно вести себя, думать вам вообще незачем.

Из примыкающих улиц сбегались любопытные; площадь наполнилась. Одетые по-городскому молодые люди скалили зубы. Энтузиасты хлопали в ладоши и этим усиливали ропот недоброжелателей. К счастью, в толпе было много приверженцев Павица и немало состоявших на жалованьи у Рущука. Верные долгу, они закричали со всех сторон рынка изо всей силы:

— Мы любим тебя! Ура!

Герцогиня заговорила опять нетерпеливо, но довольно ласково:

— Впрочем, я прощаю народу, когда он ведет себя неразумно. Я знаю, во всем виноваты глупость, суеверие и косность. Может ли отвечать за свой поступок, например, тот, кто убил булочника? Вас надо воспитывать...

Она не кончила. Негодование морально чувствующего народа прорвалось.

— Убийца? Убийца не виноват?! Ты сама не знаешь, что говоришь!

Крестьяне вне себя ревели, перебивая друг друга. Городские повесы пронзительно свистали. Оплачиваемые крикуны молчали, всюду господствовала честность. Перед обеими дверцами кареты толпились угрожающие фигуры, указывающие пальцами:

— Посмотрите-ка, что ей приходит в голову, этой важной барыне!

Герцогиня смотрела на все это со своих подушек, очень удивленная. Впереди двое негодующих крестьян размахивали блестящими топорами над самыми головами лошадей. Животные испугались; кучер стегнул по ним. Он желал добра своей госпоже и увез ее галопом.

\* \* \*

После обеда на Пиацца Колонна с криком и гиканьем двинулись толпы. Перед палаццо Асси образованна» молодежь при поддержке низших слоев устроила кошачий концерт. Герцогиня узнала, что во дворце и у партии Кобургов царит радость. Она пришла в гневное волнение и решила положить всему этому быстрый конец. Счастье должно было повернуться еще раз, как во времена арендаторских беспорядков и шума из-за запертого в дом умалишенных актера. Она в тот же вечер созвала своих приверженцев и, придя опять в хорошее настроение, приняла испуганных гостей в длинной кружевной рубашке. От удовольствия из-за удавшегося маскарада она совсем забыла, что ее неудача тотчас же окружила ее предателями и должна была придать властям мужество для нанесения ей удара. В ту же ночь должен был произойти государственный переворот, — вместо этого ночь застала ее далеко в море, с трудом ускользнувшей от ареста.

Ее день начался в гареме и достиг высшего напряжения в речи к народу; она закончила его на палубе неуклюжей парусной барки, одинокой беглянкой. У ее ног открывался люк в кухню и спальню моряка, откуда поднималось зловоние. Впереди на свертке канатов сидел Павиц, обхватив руками своего мальчика. Садясь на барку, она сказала ему смеясь, и с легким презрением:

— Вы знаете, доктор, жертв от вас я больше не требую. Вы можете остаться.

Он посмотрел на нее с искренним удивлением:

— Куда вы, ваша светлость, туда и я.

Он любил ее, он страдал за нее и был в большом страхе за свою собственную особу. После исчезновения его защитницы покончили бы и с ним, это он знал. Теперь он, сидя за натянутым парусом, скрывавшим от него ее фигуру, предавался мучительным мыслям о том, какое у нее теперь лицо. Что будет теперь с ними обоими? Когда утром они, одинокие и затерянные в дали моря, посмотрят опять друг на друга, какими людьми встретятся они? «Я все-таки ее возлюбленный», — говорил себе Павиц, не веря этому.

Но возможно, что изгнание сломит ее высокомерие! «О, конечно, она смирится, как и мы, бедняки! То, что постигло меня и ее, будет благотворно, — размышлял он, покоряясь судьбе. — А тогда... тогда... — Из растерянности внезапно потерявшего дорогу человека поднялась новая бурная надежда. — Тогда я опять буду для нее тем, чем был раньше! Все смотрели на меня, как на героя, только она нет, с тех пор, как я тогда... не умер. Ах! Теперь я отомщен! У меня она будет искать убежища на чужбине, окруженная презрением. Низвергнутую, ее будут презирать... Кто знает, может быть, она узнает бедность...»

Павиц начал желать для своей госпожи всяких бед, чтобы она могла принадлежать ему.

Вдруг ему показалось, что она зовет его. Он вскочил со своего сиденья с поспешностью нечистой совести, споткнулся о какую-то цепь и упал головой вниз. Его правая нога сильно толкнула дремавшего у борта мальчика, Павиц в ужасе поднялся с пола: ребенок исчез. Отец не хотел верить этому, он шарил в темноте, ползая на коленях. Затем он выпрямился и испустил хриплый крик. Прибежал лодочник, сложил паруса. Они вместе стали грести назад и искать. Они спустили фонари за борт: кровавые огни скользили вниз и вверх, как заплаканные докрасна глаза, не нашедшие ничего.

Герцогиня не сказала ему ни слова. Он прокрался обратно за вновь натянутый парус. Воздух майской ночи доносил до нее его отрывистые стоны, и она не знала, отчего ей теперь было холодно, от ветра или от его рыданий. На обнаженных плечах ее была только легкая бальная накидка. Морлак, управлявший баркой, набросил на нее свой широкий плащ. Ночь прошла для нее в мучительной сонливости; каждый раз в самый момент засыпания она вздрагивала и приходила в себя.

Однажды, когда она открыла глаза, море пробилось сквозь мрак, сковывавший его. Оно серой змеей извивалось вокруг нее и хотело поглотить ее. Она с легким стоном оттолкнула от себя кошмар. Но ее снова охватил ужас; она вспомнила о ребенке, она чувствовала, как он носится по воде за ее спиной и вытягивает к ней голову с мертвыми глазами.

«Что он хочет от меня?» — подумала она и услышала свои собственные слова: — Вы знаете, доктор, что жертв я от вас больше не требую.

— Что за бессмыслица! — шепнула она себе. — Разве я требовала от него, чтобы он столкнул в воду своего ребенка?

Она поспешно обернулась: в самом деле, в наступавшем рассвете за их судном плыло какое-то существо; это был дельфин, весело хрюкавший, как свинья. Вдруг он быстрым и сильным движением прошмыгнул вперед судна, в круг товарищей, игравших в морских волнах. С горизонта, где еще нависла боязливая бледность ночи, в море сочились розовые капли, точно неся ему избавление. Оно стихло и стало прозрачным. Взор погружался в призрачные сады, где у тропинок из пестрых раковин простирали светло-красные ветви коралловые деревья и разноцветные породы морских грибов расцветали среди водорослей и морской травы.

Теперь уже полнеба было залито красным светом. Герцогиня думала:

«Там, где восходит солнце, лежит страна, которую я покинула. Этот утренний ветер мчится оттуда, он пахнет солью, рыбой, прибрежной тиной, мне кажется, он пахнет также мхом утесов и их одиночеством. Я ощущаю это дыхание и не могу не думать о необозримых каменистых полях с бесконечными белыми дорогами, у которых растут только запыленные кактусы».

— Этот воздух должен был бы быть дыханием свободной страны, — сказала она про себя с глубокой серьезностью.

Море окрасилось в лазурный цвет, потом в ультрамариновый, и из бездонной синевы клубилась белая пена, словно знак тайных волнений.

— Вчера вечером, садясь в барку, я еще смеялась. Почему теперь я не смеюсь? Что случилось? Ребенок... О, ребенок — только символ... чего-то, что происходит. Я ли это несколько часов тому назад хотела в маскарадном костюме произвести государственный переворот? Где лица, смущение которых забавляло меня? Я дразнила бедняжек и радовалась, когда они становились злыми. Я не знаю даже, давала ли я празднества, чтобы поднять революцию, или же хотела заговором и переворотом оживить свое общество. Возбуждающая смена счастливых и несчастных случайностей поддерживала во мне веселое настроение. В унылую, тихую жизнь старых, смешных людей в королевском замке я, точна карнавальную шутку, бросила слова: «Свобода, справедливость, просвещение, благосостояние». Я как будто все еще танцевала в Париже и придумала себе новую моду. Неужели теперь из этого выйдет нечто прочное или даже нечто трагическое?

Она отгоняла от себя эти мысли и все-таки неотступно думала об оставшихся позади картинах. Молодой пастух с молчаливо светящимися под низким, бледным лбом глазами, скрестив руки над своим посохом, неподвижно стоял под эпическим небом среди движущегося круга овец и коз. Их головы как-то странно тревожили ее, они напоминали языческие мифы. Молодая женщина, покрытая затвердевшей грязью, которая должна была отвратить вожделения иностранных завоевателей от ее тела, давала в руку своему ребенку нож. Она учила его нападать на худую собаку, скалившую зубы.

Герцогиня пробормотала, захваченная жгучими воспоминаниями:

— Это было гордо и полно глубокого смысла! Как давно я это видела! Ведь я трепетала такой же любовью, как та толпа в Бенковаце под огненными словами трибуна, и такой же ненавистью, как старуха с черепом сына. Как могла я забыть это? Этот народ силен и прекрасен!

В своих козьих шкурах стояли они, уцелевшие статуи героических времен, возле куч чеснока и маслин, возле огромных, пузатых кувшинов из глины, среди больших, мирных животных. Они были сами почти животными — и почти полубогами! Забытые профили вставали перед ней, прямые, острые носы, рты с выражением страдания, длинные черные локоны. Она смотрела на них, как когда-то, когда она, белое дитя, глядела вниз с утесов замка Асси на барки, на которых проносились, приветствуя ее, неведомые существа.

— Ах! Теперь они уже не тени для меня, как когда-то! Я знаю теперь их голоса, их запах, их жилы, их кровь! Сухощавые, торжественные фигуры, поднимавшие глаза к моим окнам, их жесты, точно развязанные речью Павица, их животное ликование на даровых пиршествах, грозная ярость их ограниченных умов, еще вчера вокруг моей кареты. Их поклонение и их кровожадность, — то и другое одинаково для меня, то и другое сильно и прекрасно!

— Над красотой и силой воздвигнуть царство свободы: какой дивный сон!

Издали, из страны, принадлежавшей ему, прилетел к ней этот сон на спине ветра, благоухавшего морским берегом. Он догнал ее и взял силой. Она горела под его бурными ласками, одна с ним на краю одинокой барки, в сверкающем пустынном море. Темный плащ бедняка упал с ее трепещущих плеч. Прижавшись к переливающейся округлости своей жемчужной раковины, прекрасное создание глубины, — нагая, влажная и благоухающая, лежала она в объятиях бога.

\* \* \*

Появился Павиц с опухшими глазами. Он принес хлеб и сало; лодочник поделился с ними. Начавшаяся буря венчала волны пеной; они катились зеленые и прозрачные, похожие на глыбы изумруда. К вечеру наступила тишина. Гигантский диск солнца опускался с ярким блеском; весь мир исчез под пурпурным покровом. Мало-помалу по нему стали носиться тени, серые фигуры из тумана, колонны дыма на развалинах сгоревшего дня. В темноте им встречались возвращавшиеся домой рыбачьи лодки. Наконец, они пристали к берегу.

— Где мы? — спросила герцогиня.

Павиц обратился к морлаку.

— Немного ниже Анконы, — с унылым жестом объявил он.

— Нам нужен экипаж, — сказал он затем. — Теперь десять часов вечера, и идти в город нам опасно.

— Почему? — спросила она.

— Ваша светлость, мы политические беглецы.

Они стояли на берегу, не зная, что делать. Наконец, лодочник провел их в глубь страны на расстояние часа ходьбы. Герцогиня потеряла в песке свои бальные туфли; Павиц молча надел ей их. Они шли вдоль деревенской стены, на которой были нарисованы «страсти господни». В конце ее, несколько в стороне от высокой колокольни, стояла маленькая восьмиугольная церковь. За ней открывалась длинная, цветущая аллея из лип и каштанов. Павиц и проводник медленно пошли по ней. На дорожке играли падавшие сквозь листья блики восходящего месяца и показывали им находившийся на конце ее белый дом.

Герцогиня смотрела вслед им, стоя в тени церкви. В высоком мраморном портале находилась полуоткрытая низкая деревянная дверца с вырезанными на ней головками херувимов. Герцогиня вошла. Она увидела на восьми внутренних стенах, в четырех из которых находились углубления часовен, множество маленьких ангелов. Они вытягивали головы из-за тяжелых складок каменных занавесей, отбрасывали листья аканфа и выходили из чашечек цветов. Они обнимали друг друга, хлопали в крохотные, с ямочками, ручки, смеялись полными личиками, открывали пухлые ротики: тесное здание было наполнено их призрачными голосками. Ласка лунного света вызывала улыбку на известковое личико одного, делала легкими короткие, пышные члены другого, так что он потихоньку, нерешительно отделялся от стены и уносился в жизнь ночи.

Сверху, из отверстия в куполе, яркие белые лучи падали на изображение мальчика с золотыми локонами, в длинной, персикового цвета, одежде. Он протягивал левую руку назад двум женщинам, в светло-желтом и бледно-зеленом. Правая рука с серебряной лампадой светила им, озаряя спрятавшийся в темноте сад. Герцогине почудилось, что это именно ей освещает царство ее бурной мечты этот стройный, серьезный и еще совсем свободный мальчик. Ее сон, довольный тем, что покорил ее в бурю, теперь согрел ее с тихой силой; его успокоившийся лик был лицом этого мальчика.

— Но он показывал дорогу двум, — спросила она себя. — Кто же другая?

Черты обеих женщин были скрыты в глубоком мраке.

Она медленно вышла и тоже пошла по молчаливой, зачарованной месяцем аллее к белому дому. Главное здание, широкое и одноэтажное, вырисовывалось на сером фоне сумерек; дорожка, ведшая к нему, постепенно поднималась, сверкая в лунном свете. У одного из выдававшихся под прямым углом флигелей стояли Павиц и его спутник; они вели бесплодные переговоры. Какой-то разъяренный человек бранил нарушителей покоя и грозил собаками: их лай заглушал его крики.

Когда появилась герцогиня, шум смолк. В треугольной тени от деревьев, между средним фасадом и левым павильоном вспыхнуло красным светом окно. Оно открылось, и какая-то женщина сказала глухо и с такой добротой, что хотелось коснуться ее руки:

— Вы не напрасно пришли, экипаж будет сейчас готов.

Герцогиня сама крикнула слова благодарности незнакомке. Они подождали; из-за дома выехал экипаж. Герцогиня и Павиц сели. Голос женщины пожелал им счастливого пути. Они проехали мимо маленькой церкви; герцогиня чувствовала себя спокойной, почти счастливой. Ей казалось, что из этого случайного места, которого она никогда не видела при дневном свете, чуда ее занес час ночи, бегства, приподнятого настроения, она берет с собой друзей. Она вспомнила мальчика с серебряной лампадой:

— Ты шествуешь перед нами. Но кто другая?

IV

Жители Палестрины бежали вниз, на старую дорогу, соединяющую их горный город с Римом. Им не терпелось уже издали увидеть кардинала. Наконец-то он должен был принять управление этой подгородной епархией, которую отдал ему новый папа. Он носил немецкое имя, которого никто не мог запомнить.

Неуклюже подкатила черная карета; в садах, поднимавшихся по откосу, ее приветствовали венки; платки развевались ей навстречу. Окруженная народом, кричавшим «ура», она с трудом поднялась по крутой платановой аллее и с грохотом въехала на разукрашенную площадь. Загремели пушечные выстрелы; из кареты вышел еще довольно молодой человек. Где была его красная шапочка и алые полосы на его одежде? Община разочарованно молчала, но она ждала фейерверка, концерта и лото, — поэтому она примирялась с тем, что вместо кардинала явился только его викарий, монсиньор Тамбурини.

Они проводили его по узким улицам со ступеньками наверх, к капуцинам, у которых он переночевал. На следующее утро он посетил женский монастырь, сопровождаемый оглушительной музыкой, следовавшей за ним по пятам. Настоятельница приняла его в прохладном дворе, где с арабских колонок свешивались полураспустившиеся розы. После приветствия она открыла садовую калитку и пригласила викария в виноградник. Под тяжелой синевой августовского неба виноградные листья клали свои колеблющиеся тени по узкой отвесной скале. У края дорожки, где стена круто обрывалась, стоял мраморный стол, и за ним сидела какая-то дама, обратив лицо к открывавшемуся перед ней виду. Справа, окруженный волнами синих вершин, вздымался Соракт. Прямо перед ней, вдоль горизонта, чуть заметно восходили клубы серого тумана: Албанские и Вольские горы. В расселине между ними сверкала белая полоска моря. Смуглая Кампанья, лихорадочно горя, раскинулась в своей летней пустынности до самого горизонта.

Викарий с любопытством шепнул:

— Кто это там у вас, какая-то дама?

— Из-за нее, — ответила настоятельница, — я и привела вас сюда, монсиньор. Она свалилась к нам в дом, однажды вечером, точно с неба, и не уходит. Что нам делать?

— Она платит?

— Очень хорошо.

— Как ее зовут?

— Она назвала какое-то имя, которое потом сама забыла. Я готова поклясться, что это не ее имя.

Монсиньор Тамбурини улыбнулся.

— Роман? Как вам везет, преподобная мать! Она получает письма?

— Один раз у ворот очутился какой-то человек из Рима; он принес пакет с бельем. Я перерыла его, в нем были деньги, но писем не было. Все это очень таинственно и почти страшно.

— Увидим, — с важностью сказал викарий. Он подобрал свою сутану, так что стали видны фиолетовые чулки, и большими шагами, громко откашливаясь, перешел виноградник. Чужестранка обернулась и ответила на его поклон. Он представился и спросил:

— Не правда ли, сударыня, вид этой страны приковывает нас на недели?

Дама ответила:

— Здесь очень красиво, но я здесь не ради этого. Я герцогиня Асси.

Он вздрогнул.

— Я почти угадал это! — запинаясь, ответил он. — Ведь вашу светлость знают все по иллюстрированным журналам.

Не спуская с нее глаз, он думал: «Настоятельница, трусливая дурочка, была, значит, права, у нас происходят необыкновенные события». Он овладел собой.

— Какая странная встреча! Здесь, вдали от мира, в монастырском саду, я встречаю благородную женщину, героиню и мученицу, на величественную борьбу которой за священное дело мы все смотрели со страхом, затаив дыхание...

Он говорил звучным голосом, размахивая огромными руками. У него был низкий, разделенный прядью волос лоб, короткий, прямой нос и сильно развитая нижняя часть лица римлянина; он стоял перед ней, прямодушный и плотный, крепко упершись ногами в землю; но из-под тяжелых век испытующе глядели черные, бегающие глазки. Герцогиня улыбнулась.

— Героиня — едва ли. Мученица — не знаю. Во всяком случае не особенно храбрая, раз я спряталась здесь. Но, поверьте мне, монсиньор, скука придает мне мужество. Перед тем, как вы пришли, я зевнула пять раз, и едва я увидела вас, я решила открыть вам, кто я.

— Вы боялись.

— Совершенно верно. Что меня выдадут.

Он не мог себе представить, чего она боялась. Значит, она считает себя преследуемой? Совершенно напрасно! Правители ее страны, несомненно, очень рады, что избавились от нее. С тех пор там почти тихо, разве она этого не знает? Он открыл рот, чтобы сказать ей это, но промолчал и покачал головой. Если она боится, зачем он будет успокаивать ее? Из страха другого человека всегда можно извлечь пользу. Он сказал сочным, полным убеждения голосом:

— Ваша светлость, я понимаю это.

Он подумал и оживился.

— Теперешнее разбойничье правительство Италии всегда готово на всякое позорное деяние. Тиранам вашей родины достаточно только выразить в Риме желание, и вас, герцогиня, выдадут без сожаления.

— Вы думаете?

— Сомнений тут не может быть. Пока вы одиноки и беззащитны, хочу я сказать.

— Кто же может защитить меня?

— Это может только...

— Кто?

— Церковь!

— Церковь?

Он дал ей подумать.

— Почему нет, — наконец, заявила она.

— Доверьтесь церкви, герцогиня! Церковь в состоянии сделать больше, чем вы подозреваете. То, что без нее не удалось, может быть... может быть, удалось бы с ее помощью!

Она не обратила внимания на его затушеванный намек.

— И я могла бы тогда свободно жить в Риме? — спросила она.

— Свободно и спокойно, я ручаюсь за это.

— Ну, тогда — пожалуй. И скорее, монсиньор, скорее! Вы видите, я скучаю.

— Тотчас же, герцогиня. Сегодня вечером, по окончании здешнего празднества, я увезу вашу светлость в своей карете.

Он простился с важностью духовного лица. Оркестр ждал его. Под звуки марша он отправился в собор и отслужил там обедню. Вечером, когда с городской площади к серо-голубому звездному небу взлетели ракеты, его карета остановилась у калитки монастырского сада. Она приоткрылась, герцогиня села в экипаж. Она подала руку присевшей настоятельнице; желтоватое, как слоновая кость, лицо старухи выглядывало из ее белого чепца. Через маленькие отверстия в голом готическом фасаде глядели усталые глаза юных монахинь.

Викарий со своей неожиданной спутницей проехал по боковой дороге в Кампанью. Лошади бежали; в одиннадцать часов они были у ворот, вскоре после этого на Монте Челио. Там стоял домик одного прелата, неожиданно командированного на восток. Он был весь меблирован и отдавался в наем. Герцогиня переночевала в нем. Утром она решила остаться здесь.

Домик стоял на хребте наиболее заброшенного из римских холмов, в глубине запущенного сада. Перед ним, на обнесенной изъеденными стенами немощеной площадке, на самом солнце стояла navicella, поросший мхом, потрескавшийся бассейн в форме корабля. Он грезил о днях, когда рыцари ордена тринитариев со звоном вступали на порог своего дома. Над запертой дверью еще возвышалась эмблема ордена, белый и черный рабы, которые, стоя по правую и левую руку от благословляющего Христа, свидетельствовали о своем освобождении. Фасад высоко поднимался над осевшими стенами. Изредка раздавался шум шагов. Со стороны монастыря святых Иоанна и Павла иногда под аркой императора Долабеллы шаркали сандалии какого-нибудь монаха.

Сбоку под выступающей крышей белой виллы герцогини шла галерея с колоннами. Оттуда были видны, в раме двух кипарисов, склонявшихся друг к другу у решетки ее сада, Колизей и развалины форума.

Внутри каблуки стучали по красным плитам. Некоторые комнаты были оклеены темными обоями, некоторые выбелены. Мебель своими формами и размещением располагала к размышлению и молитве. Что-то тихое и немного затхлое носилось по всем комнатам, точно невидимая паутина; это было похоже на воспоминание о старых, книгах о черных, осторожно скользящих одеждах и застарелом запахе ладана. Герцогиня подумала о monsieur Анри, своем насмешливом учителе.

— Я напишу ему, куда попала.

Она дала знать Павицу. Он тотчас же явился и привел с собой Сан-Бакко. Борец за свободу торжественно подошел к ней; его сюртук был застегнут снизу и открыт сверху. Он сказал, сверкая глазами:

— Приветствую вас в изгнании, герцогиня!

— Благодарю вас, маркиз! — ответила она, слегка пародируя его трагический тон.

Павиц выступил вперед.

— Ваша светлость сделали важный шаг, когда, не спрашивая совета друзей, покинули свой приют.

Она пожала плечами.

— Милый доктор, неужели вы воображали, что я окончу свою жизнь в монастыре?

— Мы надеялись, что у вас хватит терпения еще на некоторое время. Для вас работали.

— Мы работали для вас, — повторил Сан-Бакко.

Герцогиня сказала:

— Хорошо. Так будем работать вместе! И будем при этом развлекаться. Рим производит на меня почти безумно веселое впечатление.

Она указала в окно на унылую площадку. Павиц ломал руки.

— Я заклинаю вас, герцогиня, не выходите из дому! При первом же появлении вас арестуют!

— Арестуют? Ах, господа, вы еще не знаете, каким могущественным покровительством я пользуюсь.

— Вы... покровительством? — с заметным разочарованием спросил Павиц.

— Покровительством нашей святой матери, церкви.

Она улыбнулась и перекрестилась. Павиц поспешно сделал тоже, мысленно молясь, чтобы ей был прощен грех ее насмешки.

— Что ж вы молчите?

Сан-Бакко взволнованно шагал по комнате. Он воскликнул фальцетом:

— Я чту церковь, как христианин, как демократ и как дворянин. Но там, где начинается ее деятельность, кончается деятельность солдата. В моем представлении, герцогиня, священник появляется только у смертного одра героя!

— Маркиз, вы совершенно правы, за исключением одной мелочи: я — не герой.

Она подошла к нему и посмотрела ему в глаза.

— Вы цените меня слишком высоко, мой милый, — я слаба. Скука сделала меня слабой. Мне встретился сильный, ловкий священник, викарий кардинала графа Бурнсгеймба, и я последовала за ним сюда. Что вы хотите, маркиз — мне всего двадцать пять лет! Не следует требовать от меня слишком многого. У меня есть друзья в Риме, которые утешат меня в моем несчастьи. Монсиньор Тамбурини говорит, что принцесса Летиция здесь. Я знаю ее со времен Парижа и думаю навестить ее. По-вашему, октябрьские охоты на лисиц должны состояться без меня?

Сан-Бакко покачал головой.

— Вы хотите показаться фривольной, герцогиня! Среди легкомысленных празднеств в Заре в вас было историческое величие... да, да, историческое величие! А теперь, под тяжестью возвышенной судьбы, вы кокетничаете поверхностностью. Вы любите причудливость, герцогиня, — и это идет вам.

— Но вам тонкие рассуждения совсем не идут. Пожалуйста!

Она подала ему руку.

— Я должна сделать массу покупок. Вы видите, как здесь неуютно. Поедемте со мной. Не правда ли, вы подарите мне несколько часов?

Он пробормотал:

— Несколько часов? Я весь принадлежу вам.

Он нагнулся к ее руке. Его рыжая бородка тряслась.

За ними стоял Павиц, смущенный, с горьким вкусом во рту. Герцогиня обернулась.

— А вы, доктор, примирились?

Павиц пролепетал:

— Разве я не слуга ваш? Герцогиня, я ваш слуга, что бы ни случилось. Я представлял себе это иначе. Вы в опасности, вы боялись, я хотел прикрыть вас своей грудью...

Она сделала гримасу, и он окончательно смутился.

— Я тоже боялся, это правда... Но довольно об этом, теперь вас защищают более сильные руки. Я с моей простой славянской душой всегда был верующим сыном церкви.

— Тогда, значит, все в порядке. Я слышу карету кардинала. Пойдемте.

Она надела шляпу.

— Камеристка, которую мне прислали, смыслит немного. Это камеристка изгнания.

Сан-Бакко искал по всем комнатам ее зонтик. Затем они сели в экипаж. Перед дверьми одного из магазинов, где они ждали свою даму, гарибальдиец сказал трибуну:

— Я восхищаюсь этой женщиной, потому что она разочаровала меня. Я пришел и думал, что мне придется проповедывать благоразумие. Она могла быть ожесточена, не правда ли, или детски растеряна, или возмущена. Нет, ничего подобного, она шутит. Она обладает могучей легкостью тех, кто верит в свое дело! Это великая женщина!

Павиц проворчал.

— Великая, гм, великая, — я не отрицаю. Существует пассивное величие. Некоторые умирают весело. Какого-нибудь аристократа, который дал себя гильотинировать, потому что любовная история удержала его от своевременного перехода через границу, я считаю смешной фигурой уже потому, что он никому не нужен.

— Милостивый государь! Вы забываете, кому вы это говорите!

Сан-Бакко гордо выпрямился. Но Павиц спокойно возразил:

— Вас, маркиз, я глубоко уважаю, вы борец за свободу.

И человек с двумя душами, которого звали Сан-Бакко, не знал, что ответить. Павиц продолжал:

— Тот же, с жизнью которого связано великое дело, слишком драгоценен; он не имеет права умереть в угоду какой-нибудь химере, хотя бы она носила самое звучное имя. Должен ли был я, так много значащий для своего народа, смотреть как льется на баррикадах кровь? Должен ли был я дать себя заколоть вместо какого-то крестьянина?

Сан-Бакко не понял, он молчал, а Павиц про себя упорно развивал все ту же мысль. Она владела им днем и ночью. Едва очнувшись от сна, он начинал излагать герцогине — как-будто она стояла подле него — причины, на основании которых пожертвовать жизнью, как она потребовала, было бы бессмысленно и гибельно. Он сидел в постели и убеждал ее с мужеством, которого не находил перед ее лицом, громогласно, с сильными жестами и под конец совершенно ожесточенный. Он ставил ей в укор свои бессонные ночи, свое изгнание и свою разбитую жизнь, даже смерть своего ребенка. В своем раздражении он часто верил, что она потребовала ребенка вместо него самого.

— И после стольких жертв!..

Он не доканчивал мысли, но чувство говорило ему, что за все эти жертвы она должна была бы отдаться ему. И никогда уже она не сделает этого, он знал это! В тот час, когда он мог располагать ею, совершенно беспомощной, он отвез ее в серый горный город, в монастырь. Он преувеличивал опасность ей и себе самому. Одиночество, отрезвление и страх должны были совершить свою работу над ее душой, сделать ее смиренной, кроткой и сострадательной. И вот она выскользнула из его рук — эта пестрая птица, сидевшая на ветке высоко над ним и щебетавшая, непобедимо свободная и высокомерная. Павиц отчаялся. Что он мог сделать еще, чтобы вычеркнуть из ее памяти тот час, когда он не умер.

Он ходил и искал.

По окончании своих покупок, герцогиня сказала:

— Завтра вечером мы увидимся у кардинала. Вы приглашены, господа.

\* \* \*

В назначенный час Сан-Бакко и Павиц встретились в Лунгаре, на тихой улице, которая тянется между двумя рядами дворцов по ту сторону Тибра. Они вместе поднялись по широкой, отлогой лестнице в доме князя церкви. За одетым в черное слугой, который, благочестиво склонив голову, шел перед ними с канделябром в руке, они прошли ряд зал с запертыми ставнями. Огни свечей кое-где прорезывали мрак и открывали обрывки плафонной живописи: большие, холодные тела, рассчитанные позы и аккуратные складки, застывшие в безжизненной пышности; мелькало поблекшее золото на далеко расставленных друг от друга стульях, с которых падали парчевые лоскутья. Затем перед посетителями открылось несколько меньших покоев, заставленных стеклянными шкапами, на которых стояли чучела птиц с изгибающимися шеями, взъерошенными перьями и разинутыми клювами; в сумраке они казались какими-то причудливыми существами. В библиотеке встал из-за письменного стола молодой аббат, поклонился и вернулся к своим занятиям.

Наконец, они попали в кабинет хозяина. Сан-Бакко, который был знаком с ним, представил ему Павица; после этого хозяин представил их обоих четырем дамам, сидевшим вокруг герцогини Асси: очень толстой и необыкновенно живой старухе, княгине Кукуру, ее двум красивым белокурым дочерям и еще молодой женщине, графине Бла. Монсиньор Тамбурини, в качестве верного долгу адъютанта, стоял за стулом кардинала. Граф Бурнсгеймб, маленький, худой и слегка сгорбленный старик, в черной с красной каймой одежде и с красной шапочкой на редких белых волосах, сидел в высоком красном кожаном кресле. Его белая худая рука, еще не скрюченная и полная жизни, покоилась на желтой мраморной доске рабочего стола. На нем среди груды книг возвышалась римская лампада — три бронзовых клюва на длинной ножке. Она освещала снизу сдержанную тонкую улыбку кардинала. Он обратил свое узкое бледное лицо к дамам и холодным, медлительным голосом пригласил своих гостей последовать за ним в галерею.

Тамбурини отодвинул кулису в стене, и они вошли в длинную, очень широкую галерею с тремя стеклянными дверьми, выходившую в сад. Тесный и огороженный со всех сторон, он лепился на высоте первого этажа по откосу Яникульского холма. Розовая пыль, оставленная солнцем, еще лежала на тесовой квадратной изгороди, окаймлявшей два треугольных бассейна, на низких перилах которых играли два тритона и два фавна.

В каждом конце галереи находилась запертая дверь, закрытая как бы падающей волнами занавесью из зеленого мрамора. Из могучих каменных волн выступали две белые нагие фигуры, с одной стороны юноша, с другой девушка. Они улыбались, приложив к губам палец. Их разделяла вся длина галереи; они робко вытягивали вперед ногу, как будто хотели пойти навстречу друг другу по сверкающему мозаичному полу, на котором синие павлины, обвитые венками роз, распускали золотистые хвосты. Вместо них по галерее заковыляла княгиня Кукуру. Когда она была на ногах, она представляла необыкновенное зрелище. Ее парализованные колени вызывали в ней нетерпение, она стремилась обогнать их, загребая руками и страстно топая костылем. Почти падая под тяжестью своего жира, она так сгибалась наперед, что нижняя часть ее спины возвышалась над плечами. Благодаря этому, платье сзади поднималось и открывало распухшие ноги старухи. С ее египетского профиля с плоским, падающим на верхнюю губу носом глядел озабоченный глаз упустившей добычу хищной птицы. Она отставала от общества и жадным, приманивающим голосом кричала попеременно «Лилиан!» и «Винон!», но с яростью отказывалась от помощи своих дочерей.

Задыхающаяся и багрово-красная, она, наконец, упала в кресло, у открытой двери в сад. Кардинал собственноручно придвинул второе кресло для герцогини. Княгиня Кукуру воскликнула:

— Занимайте смело все место, герцогиня! Вам нужно освежиться, вы хрупки. Мне-то вообще не нужен воздух, я обладаю здоровьем и силой! Мне шестьдесят четыре года, слышите, шестьдесят четыре, и я доживу до ста! С его помощью!

Она подняла глаза кверху и, перекрестившись, пробормотала что-то непонятное.

— Да, да, Антон, — обратилась она еще громче к кардиналу. — Вы, конечно, очень рады, что залучили ее к себе!

И она роговой ручкой своей палки сильно хлопнула герцогиню по руке. Кардинал сказал:

— Наслаждайтесь вечерней прохладой, милая дочь, здесь, у Яникула, она не вредна, и утешьтесь, если это возможно, в горечи изгнания!

— Папперлапапп! — произнесла княгиня Кукуру, — друг, что вы болтаете об изгнании! Женщина молода, она может действовать и жить, жить, жить! Деньги у нее есть, она сама не знает, сколько, а деньги, друг Антон, это главное!

Монсеньер Тамбурини сочно подтвердил: «Да, это так!».

Графиня Бла осведомилась:

— Ваша светлость, вы очень огорчены своей неудачей?

— Не знаю, — смеясь, объявила герцогиня, — я до сих пор еще не исследовала себя хорошенько. В данный момент мне это безразлично, сад дышит такой прохладой.

Бла кивнула головой и замолчала. Павиц, который до сих пор не произнес ни слова, теперь заговорил. Мучительная жажда мести, которая теперь иногда вытесняла его желание лежать у ног герцогини Асси, вдруг бросилась ему в голову. Его лоб покраснел, он сказал страдальческим тоном, избегая взгляда герцогини:

— Печальное известие. Я не могу дольше молчать. Поместьям Асси в Далмации грозит конфискация. Государство собирается захватить их. В эту минуту это уже, может быть, совершилось.

Кардинал спокойно спросил:

— Вы уже знаете это?

— Вот письмо моего агента.

Павиц отступил, удовлетворенный и все же раздираемый страданием.

Кардинал прочел и подал бумагу герцогине. Затем ее схватила Кукуру. Она подвергла ее исследованию и, убедившись в ее достоверности, разразилась смехом. Она усиливала шум своей палкой, которой непрерывно стучала о пол. Затем глаза старой дамы увлажнились, и она сильно закашлялась, слегка взвизгивая время от времени. Монсиньор Тамбурини смерил герцогиню сбоку недоверчивым и негодующим взглядом, как ставшего неплатежеспособным клиента. Герцогиня вдруг спросила:

— Государство... конфискует мои поместья? Это значит, что Николай отбирает их у меня?

Павиц мрачно ответил:

— Да.

— Ах, Николай... и Фридерика и... Фили, — сказала она про себя. Услышанное вызвало в ней глубочайшее изумление. Оно не доходило до ее сознания, как несчастье, постигшее ее; не думая о последствиях, она видела перед глазами только самый факт. Король Николай в порыве отеческого недовольства подписал важный акт; Фридерика стояла подле него, колкая и решительная, Фили — совершенно пьяный. Бедные люди, чтобы нанести удар противнику, они не нашли ничего лучшего, как украсть у него деньги! Это могло бы придти в голову и Рущуку! Вдруг она услышала у самого уха голос графини Бла:

— Не правда ли, ваша светлость, в этом есть что-то смешное?

— Что-то... Откуда вы знаете?

Она в изумлении подняла глаза.

— Совершенно верно, я нахожу то же самое. Но скажите, откуда вы знаете?

— По портретам далматских правителей. В них есть что-то такое строго, — как бы сказать, строго-буржуазное. Они должны быть необыкновенно нравственными, и, конечно, то, что они теперь совершают по отношению к вам, ваша светлость, они делают неохотно. Король Николай, — как вы могли разгневать его? Он такой почтенный.

— Почтенный, это настоящее слово для него! — воскликнула герцогиня с подергивающимся лицом. Обе молодые женщины одновременно расхохотались. Они невольно протянули друг другу руки. Бла пробормотала: «Конечно, это буржуа...» и пододвинула свой низкий табурет. Она села перед герцогиней почти у ее ног.

Сан-Бакко, сильно взволнованный новостью, бегал взад и вперед по галерее. Размахивая руками, он возбужденно говорил с самим собой; иногда вырывалось какое-нибудь громкое Слово. Наконец, он прорвался. Так, значит, беззаконие этих гнусных тиранов уже не удовлетворяется порабощением народа, они дерзают нарушать права старых родов на их родовые поместья.

— Тысячелетняя фамильная собственность, — кто имеет право оспаривать ее у меня? Никакое государство и никакой король — только бог!

После этого изречения революционер, сокрушавший по эту и по ту сторону океана все наследственные права, обвел слушателей грозным взглядом.

— Неизвестно откуда явившийся монарх, пришедший в страну с дорожным мешком в руке! Даже не завоеватель! Но я уничтожу его! Я дознаюсь, насколько Кобурги моложе, чем Асси! И я сообщу это газетам!

Горячность Сан-Бакко напомнила Павицу счастливые дни. Ему чудилось, что со всех сторон опять стекается народ; он окружал его, шумно дыша, и Павиц уже чувствовал под ногами доски какой-нибудь бочки с вином. Его глаза засверкали, руки начали дрожать, и он заговорил. Он держал одну из своих больших речей: к этому никто не был подготовлен. Дамы испугались, кардинал равнодушно рассматривал этот новый человеческий тип. Монсиньор Тамбурини утратил на мгновение решительность своих суждений под напором этого красноречия и старался уяснить себе, чего оно может стоить при подходящих условиях.

Герцогиня рассеянно смотрела в сторону; она слишком часто бывала на репетициях в театрах. Мало-помалу она стала разглядывать своих новых знакомых. Бла, скептически изучавшая смену выражений на лице трибуна, производила впечатление элегантной женщины без будущего, тонкой и доброй. Прекрасные, женственные черты ее лица выражали ум. Винон Кукуру, темная блондинка, хихикала в свой носовой платок. Со своим тупым носиком и ямочками она казалась избалованным ребенком, не знающим горя. Но ее сестра Лилиан, — та, казалось, пережила все и была сломлена жизнью. Волосы у Лилиан были темно-рыжие, с фиолетовыми бликами. Она держала опущенными тусклые глаза, кончик ее носа начинал краснеть, руки уныло лежали на коленях, как бессильные моллюски. Чужому взору девушка представлялась совершенно белой и холодной от умерших скорбей, забытых в ее груди, точно трупы. Она позволяла видеть эти трупы каждому. Никакое общество не было достаточно важным, чтобы стоило что-нибудь скрывать от него.

Висевшие за спиной дам, за Тамбурини и Сан-Бакко, на длинной стене галереи старые картины были такими же неблагодарными слушателями Павица, как и общество на балконе. Молодой человек с зачесанными на виски и лоб волосами и неодинаковыми глазами с задумчивой нежностью глядел вдаль, вытянув голову над высоким, жестким плоенным воротником. Миловидная, богато одетая девочка, пускала мыльные пузыри над столом, на котором лежали ее карманные часы. Ее попугай с криком улетал, ее собака бросалась к столу. Видно было, что шпиц будет еще проделывать всякие штуки, а птица — кричать, когда часы малютки уже остановятся и радужная пена ее десяти лет лопнет. Рядом с ней мрачная, как смерть, красавица с волнистыми волосами, вся в аграфах и развевающейся вуали держала в руках решето. Ее жирный, заостренный на конце палец, указывал на дырявую утварь, как на жизнь, в которой все напрасно и бесплодно. Юдифь, стройная дева, высоко поднимала бледное лицо под украшенными драгоценными камнями волосами и не глядела на свои сильные руки, в которых сверкал меч и истекала кровью голова.

Павиц делал судорожные усилия, чтобы поддержать в себе иллюзию, что его окружают почитатели. Мало-помалу его красноречие потонуло в общем равнодушии. Он заикался, хватался за влажный лоб и, наконец, замолчал, пристыженный и несчастный. Старая княгиня все время таращила на него глаза, открыв рот. Едва он замолчал, она закрыла рот и заговорила о чем-то другом.

Двое слуг с выбритыми, ласковыми губами тихо разносили прохладительные. Герцогиня и Бла взяли снежные трубочки; кардинал положил кусочек сахару в воду со льдом; Сан-Бакко и Павиц подлили в нее рому; Кукуру пила чистый ром; ее дочь Винон ела ванильное мороженое. Монсеньер Тамбурини приготовил оранжад, причем фруктовый сок капал ему на пальцы, и предложил его печальной Лилиан. Она небрежно протянула руку; он отвел стакан и с искривленным ртом и грацией плохо укрощенного зверя попросил:

— Сначала улыбнитесь!

Она повернулась к нему спиной, но встретила взгляд матери и вздрогнула. Она опять обернулась к Тамбурини, улыбнулась ему с таким видом, как будто могла сделать и это, и выпила напиток разом, как будто решившись принять яд.

Кукуру наложила себе полную тарелку мармеладу. Она крикнула лакею: «La bouche». Резким движением она так сильно перегнулась в сторону, как будто хотела засунуть голову под стул; потом с треском вынула изо рта челюсти и положила их в подставленную чашку.

— Вам нужны зубы для еды, а мне только для разговоров. Жую я небом, — с усилием завыла она голосом, который вдруг стал глухим и старушечьим. Он прокатился по галерее, благородные очертания которой были созданы для тонких, вдумчивых речей людей духа.

Кардинал беседовал с герцогиней о монетах и камеях. Он велел принести ящики и показывал ей некоторые экземпляры.

— Я никак не мог узнать, откуда вот эта. На одной стороне изображена виноградная кисть, а на другой под буквами иота и сигма амфора.

Она воскликнула, пораженная:

— Я ее знаю! Она с Лиссы, моего прекрасного острова. Я напишу епископу; вы позволите мне, ваше преосвященство, предложить вам еще несколько?

— В состоянии ли вы еще сделать это? — спросила Кукуру. — Ведь ваши земли отняты у вас.

— Вы правы, я совсем забыла об этом.

Она подумала.

— Ну, епископ пришлет мне монеты из любезности, — улыбаясь, сказала она.

— Нет, нет, оставьте это лучше!

Старуха была недовольна. Она опять вставила свои зубы и заговорила ясно.

— Друг Антон слишком много занимается такими глупостями, не поддерживайте его в этом. Он думает только о том, куда бы выбросить свои деньги, и у него ничего не остается для энергичных предприятий, от которых богатеют целые семьи. Если у нас есть деньги, то есть и обязанности!

Кардинал тихо вставил:

— Все в свое время, милый друг.

Он больше не обращал внимания на старую даму, искавшую подтверждения своего мнения у монсиньора Тамбурини. Он подул на покрытый резьбой камень и нежно провел по нему пальцем. Она насмешливо крикнула:

— Как он чистит его! Как он влюблен в этот вздор! Друг Антон, вы всегда были бабой!

Тамбурини опять обратился к Лилиан.

— Спойте что-нибудь, — сказал он, и под сладкой оболочкой, в которую он облек эту просьбу, смутно чувствовалось что-то грубое, как будто угроза господина и владельца. Она отвернулась, не взглянув на него. Мать резко крикнула:

— Ты слышишь, Лилиан, тебя просят спеть. Для чего ты берешь дорогие уроки?

Девушка беспомощно взглянула на герцогиню.

Та попросила:

— Сделайте мне удовольствие, княжна Лилиан.

Она тотчас же встала и медленно направилась к концу галереи. Там она остановилась и спела что-то. Ее не было ясно видно. Ее голос боязливо носился по галерее, точно придушенный сумраком. Сверкающая фигура мраморного мальчика за ее спиной прикладывала палец ко рту. Ей похлопали, и она вернулась на свое место, усталая и без следа оживления на щеках и в глазах.

Близилась полночь; герцогиня простилась. Ее ждала карета кардинала: она пожаловалась на длинную дорогу, и графиня Бла предложила ей сопровождать ее.

Обе женщины проехали Лунгару. На углу Борго на заднем плане мелькнули колонны св. Центра. Перед кабачками при свете садовых подсвечников сидел народ и пил вино. Некоторые с громкими криками играли в морру.

— У бедной Лилиан вид жертвы, которой нет спасения, — заметила герцогиня.

Бла объяснила:

— Жертва материнской политики. Кукуру потеряла свое состояние. Она необыкновенно деловита и дает векселя под будущее своих дочерей; но слишком крупные векселя, ей ничего не останется. Вы ничего не слышали о покойном князе?

— Кое-что. Говорят, что он растратил все, что у него было, на актрис.

— К нему несправедливы, он давал деньги так же охотно актерам. Он был горячим поклонником открытой сцепы, и где бы в Неаполе или вообще в королевстве подобное учреждение ни боролось с трудностями, он являлся на помощь. В более поздние годы он сам разъезжал с труппой. Он сидел каждый вечер во фраке и черном парике, чопорный и глубоко серьезный, среди шумной публики самого низшего пошиба. В заключение он поднимался на сцену и кланялся. Актеры были его детьми, он женил их и давал им приданое, мирил ревнивых мужей и жен и выслушивал их любовные исповеди. Его семья не имела ничего еще при его жизни. Княгиня уже сорок лет любовница графа Бурнсгеймба.

— Все еще? — воскликнула в испуге герцогиня.

— Успокойтесь, ваша светлость. Вы слышали, что сказал кардинал: все в свое время. Теперь заботиться о содержании семьи приходится уже не матери, это должна делать Лилиан.

— Таким же способом?

— По-моему, худшим. Женщина с тонкой натурой и находясь в крайней нужде, возмущается против такого Тамбурини.

Они оставили за собой замок и мост Ангела и поехали по Корсо Витторио. Между гордой могилой цезарей и жалкими руинами недостроенной улицы над сверкающей рекой танцевали в развевающихся одеждах запоздалые веселые ангелы во плоти. Из резко очерченной тени, отбрасываемой новыми строениями, на лунный свет прокрадывались неопределенные фигуры, худые и ленивые. Они протягивали мягкие руки преступников проституткам, которые выходили им навстречу без шляпы, с открытой грудью, покачиваясь, вихляя бедрами и зевая.

— В самом деле... Тамбурини? — повторила герцогиня. — У него есть манеры, которым они учатся в ризницах. Дома он должен быть грубым.

— Он сын крестьянина и по натуре крестьянин со всеми его качествами. Самое характерное из них — скупость. Бедная Лилиан не разбогатеет от своих грехов.

— К чему же это варварство, к чему?

— Три года тому назад Лилиан любила принца Маффа. Я не говорю, что она не любит его и теперь. Ему нужны были деньги. После нескольких недель высокомерного кокетства она при известии о его помолвке потеряла голову и письменно предложила ему себя. Письмо ходило по рукам в клубе принца, и старуха Кукуру, чтобы спасти, что можно было, свела свою дочь с Тамбурини.

— С ничтожным священником! Какая нетребовательность!

— Монсеньер Бурнсгеймб тоже был ничтожным священником, когда княгиня снизошла до него. Впоследствии из него вышел кардинал. Мать надеется, что пурпур последует за дочерью в постель ее монсеньера. Что вы хотите, в такие вещи верят. Кроме того, для погибшей девушки постель монсеньера — настоящая очистительная ванна. Я не знаю, герцогиня, а знаком ли вам этот взгляд набожных людей?

— Я ничего не имею против такого взгляда, если только он принесет пользу бедной маленькой Лилиан.

— О, многие считают ее проступок уже искупленным, и через некоторое время она могла бы прилично выйти замуж, если бы...

— Если бы она не была так печальна, эта печальная княжна.

— Не только печальна. К своему несчастью, она, очевидно, придает значение человеческому достоинству. Я почти боюсь, что внутренно она возмущена!

— Она знает, по крайней мере, почему. А кардинал? Он допустил все это?

Карета свернула; они находились, возле церкви Иисуса. С Корсо двигались группы возвращающихся из театра. Шумящие шелком женщины за столами перед ярко освещенными кафе приближали свои накрашенные лица к усам щеголей. К смеху и жужжанью голосов на тротуарах, к звону денег и хрусталя, к унылым зазываниям старух и детей с газетами и восковыми спичками присоединялись отдаленные звуки оркестра, как будто встречались друг с другом ночные птицы.

— Кардинал? — сказала Бла, — он был всегда бабой, как выражается его подруга. В их дуэтах мужскую партию исполняла всегда Кукуру. Теперь песня кончена, он избавился от насилий ее грубого голоса. Только страсть к дорогому старому хламу была в состоянии дать ему силы для этого. Теперь он наслаждается своей независимостью и с упрямством слабых не дает старой подруге даже того, что должен был бы, как порядочный человек, давать ей.

— Значит, он обыкновенный эгоист?

— Нет, не обыкновенный! Утонченный, при случае способный сделать и добро, исключительно из любопытства и не веря в добро. Если пощекотать его женское любопытство, он, пожалуй, мог бы даже отнестись с участием к борьбе народов за свободу!

— Но любить свободу...

— Никогда. Она останется ему так же безразлична, как и вопрос, будут ли через двадцать лет еще существовать князья церкви. С него достаточно, что он сам — князь.

— Этот старый человек неприятно холоден. Не принадлежит ли он к чешским Бурнсгеймбам?

— Он происходит из рода бряцающих саблями вояк с запахом конюшни, от которых он должен был прятаться со своей хрупкостью и духовностью. Я представляю себе, что юношей он много лицемерил, сделался нелюдимым и болезненно себялюбивым. Священническое одеяние он надел только потому, что в той среде для такого характера, как у него, это был единственный способ быть признанным. Новый папа очень любит его, они помогают друг другу при сочинении латинских од на тему о глухоте или эпистол о приготовлении салата из цикория. Вы заметили, герцогиня, как он смотрит на свои медали и геммы? С глубоко-тревожной любовью, не правда ли, и с завистью?

— С завистью?

— Потому что они переживут его.

После некоторого молчания Бла прибавила несколько тише:

— В конце концов, из всех нас, собравшихся сегодня вечером, он, может быть, все-таки единственный, которого можно назвать счастливым.

— Вы забываете Винон Кукуру? — заметила герцогиня.

— О, Винон: девушка, каких много, беззаботная и веселая. За столом, в пансионе за шесть лир, где княжеская семья Кукуру для рекламы живет за пять, она насмехается над немцами.

— А Сан-Бакко?

— Вполне счастлив он, вероятно, бывает только при парламентских дуэлях, которых у него ежегодно происходит две или три. Его словесное воодушевление, которое вы знаете, служит ему только заменой рукопашного. Правда, он любит высокие идеи и верит в них, потому что он христианин и рыцарь. Но они должны также давать ему право на действия, которым... как бы сказать, недостает буржуазной солидности.

— Он беден. Как собственно он живет?

— Он живет свободой и патриотизмом. Так как он подарил свое состояние стране, то он считает каждого земляка своим должником. Он уже целые годы живет в отеле «Рим»; за обедом его всегда окружает целый рой адвокатов, журналистов, любопытных и людей, которым надо, чтобы старый борец засвидетельствовал их любовь к отечеству или их радикализм. Один единственный раз хозяин осмелился послать ему счет. Сан-Бакко велел позвать его. «Это для меня? — спросил он, хмуря лоб. — Как, вы хотите получить деньги от меня... от меня? Разве я требую от вас денег за то, что ежедневно множество людей только ради меня съедает ваш скверный обед?» И он вышел, красный от гнева, оставив пять лир лакею.

Герцогиня сказала серьезно:

— Его честь зависит для него от взглядов, а не от поступков. Это привилегия немногих.

— Немногих... не буржуа, — сказала Бла.

Окрестности форума спали в безмолвном мраке. Века отодвигали эти камни на целые миры от существования честного народа, пьющего вино и играющего в морру, от крадущихся отверженцев в новых строениях, от бледных кутил перед кафе. Порой по призрачным ступеням храма у самых окон кареты всходила стройная колонна, одетая в лунные лучи. У темных, недвижных стен Колизея, под Аркой Константина, копыта и колеса будили слабый отголосок, точно запоздалый остаток давно замершего эхо. Затем, белая меж черных стен монастырей и кипарисов дорога стала подниматься вверх, на Монте Челио. Герцогиня глубже откинулась на сиденье.

— А вы сами? Все, что я узнаю от вас, звучит открыто и доверчиво, как разговор с самим собой. Но что мне думать о вас самой? Что такое вы, графиня?

— Я не графиня. Мой отец был француз, капитан папских зуавов. Даже после его смерти моя мать страдала от его закоренелой неверности. Она была слаба и капризна, и я переносила ее капризы с болезненной готовностью. Едва она умерла, я вышла замуж за чахоточного англичанина, иначе мне недоставало бы страдания вокруг меня.

— Вы так охотно страдаете?

— Заботиться о ком-нибудь и страдать — для меня, к несчастью, потребность, которой я стыжусь.

— А вы сами, графиня, разве вам не хотелось бы, чтобы вас взяли в объятия и утешили?

— Если бы я стремилась к вознаграждению за свое сострадание, чего оно стоило бы?

— Вы правы. И так вы и жили?

— Мой муж, бывший писателем, не мог больше много работать. Он научил меня этому ремеслу, и я под именем графини Бла писала сначала письма о модах, потом фельетоны, наконец, даже политические статьи, не знаю почему, с католической окраской. Не всегда сама выбираешь себе направление. Кардинал охотно поощряет таланты, он дает мне каждую среду порцию мороженого или чашку чаю, и если бы я попросила, он даже, вопреки приличиям, дал бы мне одновременно то и другое.

Они приехали. Герцогиня, улыбаясь, сказала:

— Мы говорим друг с другом так, как будто любим друг друга.

— Вы стали мне милы с первых же минут сегодняшнего вечера, — ответила Бла.

— Чем же?

— Тем, что вы засмеялись, герцогиня, тем, что после всего, что с вами случилось, вы еще могли смеяться над лицемерными, важными жестами и минами буржуа.

— Теперь объясните мне еще, что вы подразумеваете под «буржуа»?

— Так я называю всех, кто безобразно чувствует и к тому же лживо выражает свои безобразные чувства.

— Вы говорите, что любите меня, это доставляет мне истинную радость.

— Надеюсь, что это никогда не доставит вам горя. Быть любимым мною — сомнительная привилегия. До сих пор ею пользовались больная, капризная женщина и чахоточный англичанин.

Уже у калитки сада, между двумя склонившимися друг к другу кипарисами, герцогиня повторила: — Мы будем часто видеться.

\* \* \*

Монсеньер Тамбурини навестил ее; он сказал:

— Кардинал в восторге от пребывания здесь вашей светлости.

— Я искренно благодарю его преосвященство.

— Он рассказывает всем, кто к нему приходит, о чарующей личности герцогини Асси. Да, герцогиня, он в восхищении от вас и от вашего дела.

— В восхищении?

— Как могло быть иначе? Такая благородная женщина, и такое великое дело. Свобода целого народа! Кардинал относится к нему с самым горячим участием. Он молится за вас.

— Молится?

— И я тоже молюсь, — прибавил он, стараясь лишить свой голос светского жира.

Она молчала. «Он лжет более грубо, — думала она, — чем предписывает вежливость. Зачем?»

Он объяснился:

— Как известно, церковь поощряет все виды деятельной любви, а сколько прекрасных намерений служат здесь несчастному, угнетенному тиранией и бедностью народу. Вы, герцогиня, сами воплощение этой возвышенной любви. Бескорыстные господни борцы, как маркиз Сан-Бакко, приносят огонь своего мужества. И может ли отсутствовать христианский священник там, где государственные люди, как Павиц и финансисты, как Рущук, проявляют истинно-библейские качества? Ведь они мудры, аки змеи, и невинны, аки голуби.

— В особенности Рущук, — сказала она, не меняя выражения лица.

— Рущук — человек выдающийся! Мы уже давно следим за его деятельностью. Перевес, который его ловкость дала ему над капиталистами юго-восточной Европы, интересует нас.

— Так мой придворный жид такая важная личность?

— Ваша светлость! Без него или против него в Далмации нельзя устроить ничего. Подумайте, столько денег!

Он повторил, надув щеки:

— Столько денег!.. Кто хочет действовать среди людей и господствовать над ними, тому нужны эти три вещи: мужество, ум и деньги. Но из них деньги — самая важная.

— Монсеньер, теперь вы забываете любовь!

«Сейчас он был искренен», — сказала она себе. Но он впал опять в сладкий тон. Он погрузился в описание душевных прелестей высокопоставленной дамы, которая в юношеском возрасте уже поворачивается спиной к суетности мира.

— Не стояли ли вы на вершине блеска, который дают знатное происхождение, богатство, красота и грация? Но для вас, герцогиня, все это было ничто. Уже в юношеском возрасте вы отреклись от всего и сделались матерью, утешительницей и защитницей вдов, покинутых сирот и угнетенных, нуждающихся и беспомощных... Кормилицей и поилицей голодных и алчущих, сестрой изнывающих...

Он называл все проявления человеческого горя, какие только приходили ему в голову, и все евангельские добродетели, к которым они давали повод. Его пальцы с квадратными ногтями поднимались и опускались, подсчитывая, на его черном одеянии. Наконец, он достаточно взвинтил самого себя, чтобы воскликнуть:

— У одра болезни человечества стоите вы, герцогиня, как смиренная служанка, в ореоле христианского смирения.

Ей стало противно:

— Я менее смиренна, чем вы думаете. К тому же я действую не по предписанию, следовательно, неблагочестиво.

Он посмотрел на нее с открытым ртом, плохо понимая. Но тотчас же овладел собой.

— Отсюда ваши испытания! — торжествующе объявил он.

— Вы делаете много похвального, я не отрицаю этого. Но вы делаете это без истинной веры. А бог смотрит только на сердце. Сознайте это, пока есть время!

Она была изумлена этим переходом к суровому ходячему проповедническому тону.

«Он крестьянин, — заметила она про себя. — Поскреби прелата, и на свет выйдет деревенский священник».

— Он еще не отверг вас, ибо он терпелив. Изгнание, бедность, одиночество — это его нежные напоминания, чтобы вы последовали за ним. Следуйте за ним! Отдайте себя его милости! Сделайте это хоть из благоразумия! Вы увидите, как вам тогда будет все удаваться! Какое богатое вознаграждение ждет вас тогда!

Она встала:

— Кто имеет право вознаграждать меня?

Но он не слышал. Он пел, стонал и молил, постепенно усиливая тон и сопровождая свои слова мимикой, которой его научила его профессия. Она едва узнавала Тамбурини. Его глаза на склоненном на бок лице были обращены к потолку, так что видны были только белки. От его очень земного, еще недавно наполненного хорошими, питательными кушаньями тела исходил совершенно непредвиденный экстаз. В конце концов, при виде этого ее охватило что-то вроде стыда и робости. Она проследила за его взглядом: там, наверху, висела мадонна, немолодая, в ярко-голубом, широко распростертом, плаще. Набожные женщины и святые стояли на коленях под ним, в уменьшенном виде, похожие на спрятавшихся цыплят.

— Sub tuum praesidium refugimus! — вскричал Тамбурини, и герцогиня должна была признать, что обстановка ему подходит. Некрасивые темно-зеленые обои с их легким запахом ладана, черная, лоснящаяся от времени мебель, которая при малейшем прикосновении издавала глухой треск, все затхлые воспоминания в запертых комнатках этого священнического жилища давали ему право на эту сцену.

«Он на своем месте, — сказала она себе. — Я меньше».

Он чувствовал то же самое. Его руки сами собой касались предметов, по которым привыкли скользить во время благочестивых занятий. Над молитвенной скамеечкой висели четки. Тамбурини почти бессознательно опустился на колени. Его пальцы сплелись, длинная одежда волочилась по полу. Герцогиня перестала следить за его речью и рассматривала его с новым интересом. Он напоминал ей виденное ею изображение иезуитского святого, напыщенного и крепкого, отдавшегося во власть небесных видений. Желчное, мускулистое лицо блаженного указывало на способного администратора и дельца, высшего чиновника ордена, привыкшего к короткой расправе с людьми и к распоряжению крупными суммами. В свободные часы он иногда, как его и изобразили, беседовал с прекрасными ангелами, у которых были пышные формы. Они парили над землей, но с трудом, потому что их прелести были грубоваты и чувственны. Святой радовался этим посланникам своего рая серьезно и сдержанно. Его благочестивые руки даже не тянулись к ближайшему из них, самому плотному. Только обращенные к небу глаза были влажны, и нижняя пухлая губа отвисала к подбородку.

Герцогиня так живо представила себе все это, что не могла устоять перед странным искушением. Она неожиданно подошла к коленопреклоненному, подняла округлую руку, отставила назад ногу подобно самому большому из ангелов на тех алтарях и улыбнулась. У Тамбурини тотчас же искривился рот, совершенно так, как в тот вечер, когда он предлагал Лилиан Кукуру апельсинный сок, капавший с его пальцев. Этого действия ей было достаточно. Она громко засмеялась и оставила его одного.

Минуты через три она вернулась в комнату и сказала:

— Если вы ничего не имеете против, монсиньор, мы сообщим теперь друг другу, как люди разумные, чего мы хотим один от другого.

Он был немного смущен, но, в сущности, не недоволен исходом дела. Попытка подчинить герцогиню церкви должна была быть сделана. Что она безнадежна, в этом умный священник почти не сомневался. Он просто исполнил долг совести. Теперь он мог, совершенно успокоившись, перейти к деловым переговорам, отвечавшим его вкусу и характеру больше, чем экстатические попытки обращения. Он в немногих словах предложил ей для государственного переворота в Далмации союз с церковью.

— Наконец, я опять узнаю вас, монсеньер, — ответила она. — Вы слишком сильный человек, чтобы быть убедительным проповедником покаяния. С таким римским профилем, как у вас, не говорят о милосердии и загробном мире.

Он поклонился, заметно польщенный. Они вежливо сидели друг против друга, и Тамбурини объяснял ей, что она начала свое предприятие романтично, следовательно, ложно. Теперь все дело в том, чтобы продолжать его более трезво. Церковь по существу своему практична, она отвергает опрометчивый риск. Капля масла, каждое воскресенье стекающая с алтаря, готовит далекую, но верную огненную ванну.

— Еще лучше, если все пройдет тихо и незаметно. Я удивляюсь, что ваша светлость до сих пор не подумали, каким непобедимым могло бы сделать ваше дело участие низшего духовенства. Народ кишит маленькими аббатами, это его сыновья, братья, кузены и зятья. В каждой большой семье имеется хоть один, и вся семья подчиняется ему во всем, что не имеет отношения к жатве или скоту. Предоставьте нам пропаганду, герцогиня, и через несколько лет воля вашего народа будет так очевидна и непреодолима, что теперешний монарх сам возьмет в руки дорожный мешок, о котором говорил маркиз Сан-Бакко.

В конце концов, она объявила, что согласна во всем.

— Остается только сговориться о наших требованиях. Мне нужна помощь церкви против моих врагов. Что нужно вам?

Он сделал вид, что не требует ничего.

— Ваше обращение, ваша светлость... было бы слишком прекрасно, — быстро прибавил он, заметив ее насмешливый взгляд.

— Мы удовольствовались бы бароном Рущуком.

— Обращение Рущука! Разве необращенный, он для вас еще недостаточно смешон?

— Вы недооцениваете его. Мы считаем его призванным организовать на востоке католический капитал против...

— Против?

— Против евреев... это была бы задача, достойная его.

— Несомненно, — сказала она. — И это все, чего вы требуете?

Он долго говорил, убеждая ее, что это все, и она охотно поверила ему. Ее очень забавляло видеть на горизонте своих планов будущего, в качестве самого желанного, наиболее значительного предмета, своего старого, верного придворного жида с мягко-колышущимся животом и распухшим, красным лицом. Когда Тамбурини прощался, она повторила:

— Конечно, он должен быть обращен. Сколько бы раз он ни был крещен — обращенным его нельзя назвать. А он должен быть обращен.

— Это было бы большим счастьем для него и для нас. Я высоко ценю господина фон Рущука, очень высоко. Столько денег!.. Столько денег!

И Тамбурини удалился, надув щеки.

\* \* \*

Герцогиня должна была отдать визит княгине Кукуру. Бла пошла вместе с ней. Когда они появились в пансионе Доминичи, Кукуру крикнула через головы почтительно умолкших гостей:

— Скажите герцогине Асси, что я сижу за столом и прошу ее подождать.

Обе дамы вошли в гостиную, отделенную от столовой грязно-коричневой портьерой. Она была заставлена плюшевой мебелью, спинки которой стали жесткими и порыжели от спин и рук бесчисленных иностранцев; на полу лежали ковры с упорно загибающимися вверх углами. С потолка висели фистоны, на стенах — портреты хозяина и его супруги. Перед зеркалами в углах стояли на зеленых жестяных консолях приземистые, насмешливые фарфоровые фигуры, окруженные бумажными цветами, и держали в руках позолоченные корзинки с розами из мыла. Все эти предметы были покрыты густым слоем пыли.

Из соседней комнаты доносился запах дешевого сала. Слышался стук вилок и хихиканье Винон Кукуру. Мать крикнула Лилиан, которая с отвращением отворачивалась от своей тарелки, что она должна ухаживать за собой. Много есть и следить за хорошим пищеварением — в этом вся мудрость жизни.

— У меня больные колени, и я не могу делать движений. Но я пью Виши и перевариваю великолепно!

Она погрузилась в любовное описание своих физиологических отправлений, не переставая при этом жевать, задыхаясь и ловя губами воздух. Она с бульканьем проглотила стакан вина, щеки ее порозовели под седыми волосами. Она сложила руки в вязаных митенках на безобразно торчащем животе и наслаждалась минутою отдыха и покоя. Затем подошел жирный кельнер с новым блюдом, и жажда возможно дольше сохранить свои силы заставила жизнерадостную старуху снова взяться за напряженную работу. Каждый сквозняк, от которого развевалась коричневая портьера, открывал ждавшим гостьям отвратительную картину насыщающейся старухи.

В дверях показалась служанка.

— Карлотта! — крикнула княгиня, — ты молилась по четкам? Сейчас же сделай это, а не то я скажу твоему духовнику, что сегодня ночью в комнате у тебя опять был Иосиф!

Служанка исчезла.

Наконец она приказала: «la bouche!». Застучали зубы, резиновый кончик палки уперся о пол.

— Эй, люди, — крикнула она пансионской прислуге, — вы готовите порядочно, я хорошо поела!

Она направилась к герцогине, повторяя:

— Здесь ешь досыта. Сознайся, Лилиан, что мы остаемся сыты.

— От одного вида! — объявила Лилиан.

Старуха со стоном упала в кресло.

— Не обращайте внимания на все это старье. Я тоже не обращаю на него внимания. Вот эта фигура всадника на столике, разве она не имеет вида тяжелой бронзы? И вот я ее опрокидываю, смотрите, я опрокидываю ее одним пальцем. Это не фокус, ведь эта папка пустая внутри! Я плюю на это! Наш брат, не правда ли, герцогиня, даже в самую жалкую нору приносит с собой большой свет?

«Даже в постель Тамбурини?» — подумали одновременно Бла и герцогиня. Они обменялись взглядами и поняли друг друга. Винон рассмеялась, а Лилиан со страдальческим высокомерием обвела взглядом комнату. Она позволяла прикасаться к своей особе только крошечному кусочку края стула и узкому пространству под ногами.

Старуха стукнула костылем.

— Но я вовсе не думаю окончить здесь свою жизнь. Я еще завоюю себе своей деятельностью дворец, и моя семья опять станет богатой и великой. Я работаю, а мои дети платят мне неблагодарностью. Мой сын, живущий — не знаю как — в Неаполе, приезжает и устраивает мне сцены и укоряет меня моими делами. Разве я вмешиваюсь в его дела? Мне кажется, он живет на счет женщин!

Она хныкала, задыхаясь.

— И никогда он не поддержит на эти деньги своих!

— Какие же у вас дела? — спросила герцогиня.

— Ах! Дела! Предприятия! Движение! Я доживу до ста лет! Я открою пансион, о, немножко почище этого. Пятьсот комнат, цена с услугами всего четыре лиры, и при этом в высшей степени прилично. Я убью всех остальных! Вы верите мне?

— Кажется...

— Ха-ха! Всех остальных я убью! И доживу до ста лет! Мне только недостает денег, чтобы начать, и с какими низостями я должна бороться, чтобы получить что-нибудь! Я расскажу вам мое дело со страхованием. Страхование, — подумала я, — чудесная вещь. Застраховываешь себя на очень большую сумму, продаешь полис и имеешь деньги, чтобы открыть пансион. Мне уже шестьдесят четыре, но мне называют Общество, которое, по своим статутам, принимает до шестидесяти пяти. Врач этого Общества исследует меня, я говорю ему, чтобы он написал в своем отчете: «Эта дама доживет до ста лет», и он делает это.

— Поздравляю вас.

— Благодарю. Но теперь следует низость. Вы увидите сами. Винон, поди принеси мою папку с делами!

Молодая девушка принесла туго набитый черный портфель.

— Вот письма агента, копия отчета врача и все остальное. И вот эти люди заставляют меня ждать шесть недель и затем — сочли ли бы вы это возможным — пишут мне, что я слишком стара!

— Это обидно, — заметила Бла. — Вы можете подать жалобу на Общество, княгиня.

— Если шестьдесят четыре для них слишком много, зачем тогда они говорят, что принимают до шестидесяти пяти? Или...

Голос старухи вдруг задрожал.

— Или они все-таки нашли во мне какую-нибудь болезнь? Как вы думаете, герцогиня?

— Это невероятно, при вашей жизнеспособности.

— Не правда ли? Ах, что там, я здоровее вас. С его помощью!

Она подняла глаза к небу и, перекрестившись, пробормотала что-то, чего нельзя было разобрать.

Пансионеры, хотевшие войти в гостиную, при виде собравшегося вокруг княгини общества робко отступали. Только один молодой человек вошел, насвистывая сквозь зубы, и слегка поклонился. Винон бесцеремонно поднесла к глазам лорнет, Лилиан не обратила на него никакого внимания, а Кукуру громко крикнула: — Добрый день, сын мой! — Он сел и взял в руки газету. Приложив два пальца к бородке, он рассеянным взглядом своих мягких черных глаз посмотрел на герцогиню, потом на графиню Бла, затем несколько раз нерешительно перевел взгляд с одной дамы на другую. Наконец, испытующе наклонив голову, проверил состояние своих лакированных, наполовину светло-желтых, наполовину черных, ботинок. Он был самым элегантным жильцом пансиона, обедал в клубе и довольствовался дешевыми завтраками дома Доминичи только после ночей, в которые ему не везло в карты. Все гости восхищались им, одиноко путешествующие англичанки влюблялись в него. Винон Кукуру обращалась с ним с искусственным презрением, но ей не удавалось смеяться над ним.

Ее мать хлопнула герцогиню по колену.

— Знаете, герцогиня, между нами очень много сходства! У нас обеих нет денег, и обе мы из самых высших кругов. Мое состояние князь, мой бедный муж, раздарил комедиантам; ну, а с вами тоже сыграли комедию. Революция — разве это не комедия? Ха-ха! С чего это вам вздумалось? К чему служат такие вещи?

— Для общественного развлечения, — сказала герцогиня и улыбнулась графине Бла, которая не заметила этого. Ее губы были слегка открыты, она с лихорадочным выражением, не отрываясь, смотрела на вошедшего. Он повернул к ней свой профиль так, чтобы ей было удобно его рассматривать. Это был греческий профиль, с иссиня-черными, шелковистыми волосами на щеках и подбородке. Герцогиня тоже нашла его красавцем, одним из тех красавцев южного типа, на руках и лице которых, несмотря на весь налет табачного дыма, паров абсента и горячих испарений человеческих тел в игорных и публичных домах, лежит неистребимый остаток прозрачного мраморного блеска выросших на его родине богов. Но как могла эта чарующая и пустая маска, выставляющая себя напоказ в самодовольных шаблонных позах, повергнуть в судорожное молчание такую умную, тонкую и насмешливую женщину, как Бла?

— Дорогое развлечение! — кричала Кукуру. — Кончается тем, что ваши партнеры опустошают все ваши карманы и захлопывают дверь перед самым вашим носом. Вы вдруг оказываетесь под открытым небом — и еще смеетесь?

Старая дама пришла в ярость.

— Как вы можете еще смеяться при таких мошенничествах? Ах, мошенники! Им следовало бы иметь дело со мной, а не с какой-нибудь дамочкой! Что за шум я подняла бы, и что за жизнь! Жизнь! Движение! Я травила бы их, укравших мои деньги! Небо обрушилось бы на них, и земля поглотила бы их! Я не потерплю, герцогиня, чтобы вы успокоились! Вместо вас я сама насяду на них, буду их царапать и вырву из их когтей то, что смогу получить. Ха-ха, положитесь на меня, уж что-нибудь я да получу! Я...

Вдруг в комнату ворвался Павиц, раскрасневшийся и почти помолодевший. Он взволнованно воскликнул:

— Важное сообщение, ваша светлость. Наконец-то я нашел вас. Большое счастье для нас, верная перспектива... А, Пизелли, как вы сюда попали?

Элегантный молодой человек пошел ему навстречу, протягивая руку. Павиц познакомился с ним на Корсо, в каком-то кафе, среди товарищей по праздной жизни, на которую был теперь сам осужден. Он представил его герцогине:

— Господин Орфео Пизелли, коллега, отличный адвокат... и тоже патриот.

Пизелли развязно поклонился. Павиц торопливо заговорил:

— Я только что от Сан-Бакко, у меня было совещание с ним; он поручил мне официально сказать вам, герцогиня, что он готов ворваться в Далмацию с тысячью гарибальдийцев. Успех несомненен. Все готово, ждут только знака. Мы должны еще нанять суда, тогда можно будет начать. Соглашайтесь, ваша светлость, соглашайтесь! На этот раз победа за нами... Все это испытанные герои...

Он говорил тем настойчивее, чем недоверчивее становились лица его слушательниц. Он еще находился под душем энтузиазма, только что излившимся на него от рыцаря-мечтателя. Он чувствовал еще его брызги, он хотел быть воодушевленным, — а втайне уже боялся отрезвления. Пизелли перебил его журчащим, вкрадчивым баритоном:

— На этот раз, герцогиня, победа за вами. Дайте свое согласие, я едва могу дождаться этого, — ах, что я говорю о себе, вся идеалистическая молодежь едва может дождаться этого. Мы все хотим принять участие в великой борьбе, герцогиня, за одну вашу улыбку. Если бы вы знали, как все наши сердца бьются за вас и как они истекали кровью при вашем несчастье! Теперь, наконец, близится великий момент, теперь ваше величие и прелесть заключат союз с нашим воодушевлением и нашей силой. Неотразимое очарование имени тысячи из Марсалы будет предшествовать вашим знаменам, как рок, которому покорятся все. Вы победите... а мы... мы...

Он обвел дам счастливым взглядом. Он и не думая напрягать свой голос. Лишь совершенно поверхностно играл он безудержным чувством, рвавшимся наружу в голосе трибуна, и спокойно давал заметить, что это игра. — Я вам показываю себя, — казалось, говорил он. — Сударыни, разве этого не достаточно?

Герцогиня позволила ему кончить свои благозвучные упражнения; она находила приятным иметь его перед глазами. «Он удачный экземпляр, — думала она, — и прав, если доволен собой». — Относительно плана, который ей предложили, у нее не было сомнений. Она, пожимая плечами, обратилась за советом к Бла. Но ее подругу нельзя было отвлечь от Пизелли, Казалось, его вид причиняет ей физическое страдание, делающее ее счастливой.

Но Кукуру разразилась негодующей речью; ее лоб уже давно побагровел.

— Перестанете ли вы, наконец, городить чепуху? С вашей тысячью смешных красных рубах вы хотите завоевать государство, которое имеет солдат? Вы думаете, что всюду то же, что в Неаполе: все подкуплены, и все условлено заранее, пушки наполнены цветами и хлопушками, а со стен нападающим протягивают руки красивые девушки. Не правда ли, вы так представляете себе это? Так представляет себе жизнь такой дурак, как Сан-Бакко. Тоже один из тех, кому эта комедия стоила всех его денег. Патриотизм и свобода, что за бессмысленные названия комедий.

Она, вне себя при мысли о всех выброшенных на идеалы деньгах, толкнула костылем испуганную герцогиню.

— Идите со своими тысячью клоунов в Далмацию! Из этого выйдет только то, что у вас отнимут последние деньги, если у вас еще осталось что-нибудь! И обратно вы ничего не получите, ничего, ничего, ничего!

Вдруг она остановилась, точно парализованная. Рот остался открытым, толстый язык лежал, свернувшись, между зубами. Среди речи у нее явилась идея, на мгновение обессилившая ее. Несколько минут все испуганно ждали, но старая дама закрыла рот и задумчиво пробормотала что-то про себя.

Герцогиня и Бла стали прощаться. Пизелли опять заговорил. Он хвастал своими связями среди золотой молодежи и называл самые знатные имена.

— Со всеми этими господами я встречаюсь ежедневно в клубе. Со многими я уже говорил о вашем деле, герцогиня. Я могу сделать для вас бесконечно много. Вы, вероятно, все знаете принца Маффа. Это мой друг...

При звуке этого имени раздался глухой стон. Лилиан Кукуру вышла из комнаты, не сказав ни слова. Пизелли не смутился этим. Ему было безразлично, какое именно действие производила его личность, — лишь бы она производила действие. Он вышел с Павицем вслед за обеими женщинами. На улице он обдавал Бла своим дыханием и говорил только для нее. Инстинкт профессионального красавца уже давно сказал ему, где женщина.

Бла овладела собой. Она улыбалась ему через плечо, в ее глазах появился искусственный блеск, как от атропина. Она дала волю своему остроумию, и Пизелли извивался от восхищения.

— Графиня, я читал ваши стихи. Какие переливы, какая нежность! Ах, что за чувства! Кто не знает ваших «Черных роз»? Вы знаменитость, графиня. Лишний почитатель, отнимающий у вас несколько минут, — какое это имеет значение для вас! Вы позволите мне навестить вас, графиня? Вы разрешите мне это?

Герцогиня сказала:

— Я не знаю, в Кукуру есть что-то живописное, она далека от пошлой трусости. Возможно, что она была бы способна на необыкновенные поступки. Она почти нравится мне.

Едва дверь закрылась за посетителями, как мать толкнула Лилиан и Винон в комнату, занимаемую семьей. Она заперла дверь на задвижку и заковыляла на середину комнаты. Ее фигура странно расширялась книзу; ее жир имел наклонность скатываться вниз волнистыми грудами, со щек на шею, с шеи на грудь, с груди на живот и с живота на ноги. Он как будто хотел стечь вниз, вдоль палки, на которую опиралась старуха, и образовать на полу кашу. Так стояла княгиня, пыхтя и весело подмигивая, перед своими высокими белокурыми дочерьми.

— Что такое? — коротко спросила Лилиан.

— Дети, у меня новое дело.

Винон заликовала:

— У maman дело!

Лилиан презрительно объявила:

— Maman, ты делаешь себя смешной. Только что тебя одурачило страховое Общество, а ты еще не довольна?

— С этими негодяями страховщиками я уже покончила. Они раскаются в этом. Теперь я в состоянии оказать важные политические услуги, за которые мне заплатят много денег. На них я открою пансион.

— И доживешь до ста лет. Знаем.

— Вы только послушайте, деточки, прошу вас. Сначала я думала, что из этой нелепой болтовни о вторжении в Далмацию ничего не выйдет. Но кое-что из этого все-таки выйдет, это я сейчас же заметила. Я извещу о планах дурака Сан-Бакко его превосходительство далматского посланника. Как вы думаете, сколько даст это дело?

— Славное дело, — сказала Лилиан. — Maman, твои промыслы становятся все сомнительнее.

— Вот мне за все, — захныкала Кукуру, — я жертвую собой для них, и вот как они отплачивают мне. Вас нужно принуждать к счастью, детки... И я заставлю вас! — крикнула она, топая костылем, вся красная, разъяренная и злая.

— Я положу вас в постели богачей и завоюю себе все те деньги, которых негодяи не хотят дать мне, и сделаю наш род великим и буду жить... жить...

— Maman, твоя жадность к жизни, — просто противна, — сказала Лилиан, — белая и холодная.

В этих интимных беседах она вознаграждала себя за все насилия, которым подвергалась в обществе.

— Твои дела доведут тебя до суда, этим ты кончишь.

Старуха огрызнулась.

— А где кончишь ты, скверная дочь? В доме, которого я не хочу даже назвать!

Лилиан вошла в спальню и захлопнула дверь.

— Ты лучше своей сестры, — сказала Кукуру Винон. — Пойди, доченька, к хозяйке и попроси у нее большой лист белой бумаги и чернил: наши высохли. Так хорошо, теперь садись за стол, мы напишем посланнику. Как будто это не великолепное дело — чего хочет та? Разве всякому придет в голову такая мысль, и сколько работы у меня теперь! Ах, предприятия: Движения! Жизнь! Они должны будут дать мне денег, мошенники, за мои сведения, и я верну назад кое-что из того, что они украли у бедной герцогини... у бедной, глупой герцогини, — повторяла она злорадно и плаксиво.

Винон разложила на столе письменные принадлежности, аккуратно и чисто разлиновала бумагу и начала писать под диктовку матери.

— Мы будем писать по французски, моя Винон, это язык дипломатов. Возьми свой словарь.

Молодая княжна отыскивала слова, положив локти на стол, серьезная и углубленная как школьница.

— Вот так работа, — стонала княгиня, — у меня уже шумит в голове. Мне нужно возбуждение. Лилиан, дитя мое, подай мне коробку с папиросами.

Так как дамы встали поздно, спальня была еще не убрана. Лилиан вернулась в гостиную: своей комнаты у нее не было. Она принесла старый пеньюар, у которого оторвался подол, и долго сидела, праздно опустив руки, отдавшись чувству унижения, что должна починять эти лохмотья. Затем она принялась за работу.

Старуха между фразами, которые диктовала Винон, пускала клубы дыма и пронзительным дискантом, отрывисто и весело напевала отрывки какой-то арии. Наконец, она кончила; она сложила руки и откинула назад голову.

— Если только ты благословишь мое новое дело! Без твоего благословения оно, конечно, опять не удастся. Ах, конечно, ты благословишь его.

— Детки! — воскликнула она, поднимаясь, — попросим мою мадонну, мою прекрасную мадонну!

Она подкатилась к двери и открыла ее.

— Люди! Идите все сюда, вы должны молиться со мной, чтобы моя мадонна взяла под свое покровительство мое новое дело.

Жирный кельнер, Карлотта и работник Иосиф, кухарка и судомойка протиснулись вслед за княгиней в ее спальню. Лилиан отвернулась, ломая руки. Винон смеялась. Кукуру опустилась на колени перед большой, вылизанной и приторной мадонной, своей домашней богиней, оставшейся ей верной во всех катастрофах ее жизни, вплоть до пансиона Доминичи. Среди брошенных чулок, коробок с пудрой, умывальных чашек с выпавшими волосами и не особенно чистых пеньюаров преклоняли колени служащие пансиона. Они перебирали черными пальцами четки и с тихой верой повторяли за княгиней слова, которые она произносила таким тоном, как будто служила молебен.

\* \* \*

В следующую среду у кардинала разговор зашел о гарибальдийском плане завоевания. Сан-Бакко сам пылко защищал его. Кукуру громко смеялась и опять упоминала о пушках, заряженных цветами и хлопушками Монсеньер Тамбурини жирным голосом здравого смысла сказал, что надо решиться на что-нибудь одно: с помощью церкви медленно подготовить почву или же одним ударом попробовать приобрести все и, по всей вероятности, все потерять, — как это свойственно седым юношам. На это Сан-Бакко, вспыхнув, заявил священнику, что только одежда, которую он носит, защищает его от наказания. Тамбурини, слегка встревоженный, осмотрелся, ища сочувствующих лиц. Наконец, с ним согласилась Бла. Она отсоветовала своей подруге необдуманную авантюру. Герцогиня разочарованно спросила:

— Почему же вы молчали тогда?

Бла подумала о Пизелли и слабо покраснела. Герцогиня вспомнила:

— Она была занята более важным...

Вечер тянулся вяло. Кукуру, глупо хихикая, рассказывала герцогине, что теперь у нее новое, верное дело; оно принесет ей много денег.

— В самом близком времени я открою свой пансион. Переходите ко мне, герцогиня, это стоит всего четыре лиры, столько вы все-таки сможете заплатить. А зато как я буду кормить вас! Вы станете такой же жирной, как я сама.

Следующее собрание не состоялось. Недели проходили без событий. Герцогиня ездила по Корсо с Бла. Когда, во время концерта на Монте Пинчио, они останавливались в ряду блестящих экипажей, Павиц и Пизелли, соперничая изяществом костюмов, подходили к дверце их кареты. Принц Маффа и его аристократические клубные друзья попросили позволения быть представленными. Сан-Бакко, окруженный официальными лицами, приветствовал издали изгнанную герцогиню Асси.

После какой-то мечтательной пьесы, в тихие, теплые сентябрьские сумерки вся компания, не торопясь, шла пешком вдоль Ринетты. Монсеньер Тамбурини присоединился к ней.

— Порция мороженого и кантилена Россини, чего же еще? — со сладким трепетом спросила Бла. Пизелли шел рядом с ней. Она мечтательно прибавила:

— Для конспирации надо столько денег.

Павиц уныло повторил:

— Столько денег.

Тамбурини подтвердил жестко и алчно:

— Нужны деньги.

Похотливо и мягко повторил Пизелли:

— Деньги.

Сан-Бакко, возвышенный нищий, живший даром во имя идеала, презрительно бросил:

— Деньги.

Удивленно, точно слыша в первый раз, сказала герцогиня:

— Деньги.

V

Герцогиня вовремя вспомнила о сумме в триста тысяч франков, которую ее покойный муж, герцог, имел обыкновение оставлять в Англии в банке, в качестве дорожного капитала, на всякий случай. Она взяла деньги и разделила их между Тамбурини и Павицом. Трибуну они послужили для поощрения его наемников в прессе, среди чиновничества и народа Далмации, священнику — вознаграждением за первые робкие попытки помощи со стороны духовенства. Их хватило не надолго, но у нее еще оставались доходы с ее сицилийских поместий, возле Кальтонисеты и Трапари.

Павиц должен был вести счета, но изгнание сделало его ленивым и падким на удовольствия. Он чувствовал себя первым министром свергнутой королевы, — и не был ли он, в действительности, даже ее возлюбленным? Оскорбленный, как любовник и государственный человек, изгнанный из государства и из спальни, он не мог плохо питать и дешево одевать свое горестное величие. Из уважения к своему душевному страданию он щадил свое тело и создавал для него существование на вате. Его трагическая судьба была чем-то изысканно аристократическим, он мягко кутался в нее, точно в дорогие английские ткани, употреблению которых научился у Пизелли. Вздыхая, садился он на бархатные диваны самых аристократических ресторанов и мрачно и презрительно съедал самые дорогие обеды. Он постарался попасть в кружок принца Маффа и проигрывал в баккара значительные суммы, не столько из хвастовства, сколько из презрения ко всему, что происходило не в его душе. Лишившись своего ребенка, он в значительной степени утратил моральную твердость отца семейства; вскоре его стали всюду встречать с дамами легкого поведения. Его души они не удовлетворяли, он часто тосковал по более благородному обществу. И вот он пригласил княгиню Кукуру и ее дочерей за покрытый камчатной скатертью стол красного ресторанного салона. За десертом у Винон в голове шумело от шампанского. Умиленный Павиц заключил молодую девушку в свои объятия. При этом зрелище Кукуру сообразила, какое благодатное употребление можно при случае сделать из герцогской кассы. Но Лилиан негодующе вмешалась. Она относилась свысока ко всему: к блюдам, к винам и к хозяину. Мать напрасно старалась удалить ее. В конце концов она разыграла припадок удушья и упала со стула. Лилиан спокойно оставила ее лежать; трезвая и белая, она не покидала своего поста между разгоряченной сестренкой и богатым господином.

Иногда Павицом овладевали неясные сомнения, не находится ли его новый образ жизни в несоответствии с размерами содержания, которое назначила ему его госпожа. Но он уклонялся от неприятных открытий, и это было ему легко, так как его личные расходы уже давно безнадежно перепутались с общественными. Даже герцогиня как-то удивилась размеру его требований.

— Вы бросаете наши семена и туда, куда не попадает ни солнце, ни дождь. Для чего?

— У меня славянская душа, — объяснил он. — Я знаю, я не умею считать. Я слишком мечтателен и уступчив.

— Ах да, ведь вы романтик.

— Касса должна быть в более твердых руках, — сказал он, убеждая этим себя самого в своем бескорыстии. Сейчас же вслед затем он уступил неясному желанию видеть ее в дружеских руках.

— Если бы ваша светлость передали ее какой-нибудь практичной особе... например, княгине Кукуру.

— Да, она практична... Я лучше передам ее графине Бла.

Пизелли присутствовал, когда Бла принимала управление деньгами. Он умелыми пальцами сосчитал ассигнации. Их было уже немного. Письма и оправдательные документы не согласовались. Пизелли, не глядя на Павица, который краснея смотрел в сторону, без околичностей объявил, что все в порядке. В заключение он, еще в присутствии герцогини, свободно и рыцарски подошел к бывшему управителю делами.

— Милый друг, если у вас еще есть требования к кассе... Вы знаете, мы устроим по-дружески.

Беспечные манеры крупного финансиста восхитительно шли Пизелли. Герцогиня простила его грации пустоту кассы. Бла прощать было нечего, она чувствовала себя обязанной ему за то, что он был здесь.

Вскоре после этого Павиц явился со спасительной вестью. Один далматский беглец в Риме, сапожник, получил письмо от своего двоюродного брата, торговца скотом, которому один еврейский ростовщик в Рагузе сказал, что одолжит герцогине столько денег, сколько ей понадобится. Даже проценты не были велики. Никто не отнесся к этому серьезно; в это время получился чек на римский банк и был выплачен. Монсеньер Тамбурини, в денежных делах крайне любознательный, собрал сведения. Однажды, у герцогини, он сказал:

— Только барон Рущук может быть источником этого. Какой выдающийся человек!

Павиц знал это давно, но молчал из ревности к финансисту.

— Этот предатель! — тотчас же воскликнул он. — Этот двойной предатель! Он отрекался от нас каждый раз, как наше счастье колебалось. Ваша светлость, помните, как он громко отрекся от вас тогда, когда...

— Когда закололи крестьянина, — докончила герцогиня.

Он задыхался.

— Кто первый покинул нас после поражения? Рущук! Он тотчас же бессовестно предложил свои услуги Кобургам. Я не понимаю, как можно жить без совести: я христианин...

Пизелли засвидетельствовал это.

— Конечно, вы христианин.

— Теперь его называют Мессией, спасителем погибавшей династии. Он на пути к тому, чтобы стать министром финансов!

Все больное честолюбие трибуна взвизгнуло в этом слове.

— И в этот самый момент он дерзает на вторую измену! Он предлагает нам деньги! Он предает нам тех, кому только что предал нас!

— Мы платим ему проценты, — успокаивающе сказала Бла. — Это извиняет его.

— Необыкновенно выдающийся человек! — повторил Тамбурини. Павиц окончательно вышел из себя.

— Вы находите его выдающимся, этого вероломного, продажного человека, — вы, монсеньер, служитель истины?

Тамбурини, спокойный и сильный, пожал плечами.

— В политике нет истины, есть только удача.

Павиц, неудачник, опустил голову. Он жаждал друзей, в которых бродило бы то же подавленное желание мести по отношению к счастливцам, как в нем самом. По со всех сторон он встречал холодные взгляды. Герцогиня заявила:

— Вы должны все-таки признать, доктор, что мой придворный жид умен. Он устраивается так, чтобы Сыть министром во всяком случае. Если, против ожидания, с Кобургами дело кончится плохо, тогда он будет моим министром. Да, я склонна думать, что доставлю ему это удовольствие.

— Ваша светлость могли бы это сделать?

— Он ежедневно доказывает мне свои таланты... Не говоря уже о том, что я нахожу его необыкновенно смешным.

— Смешным! Да, да, смешным!

Павиц громко расхохотался. Он сделал усилие над собой и сел, со спокойствием, в котором еще чувствовалось что-то лихорадочное.

— Вы относитесь к нему, как к комической личности. Вы не знаете, как далеко ушел он в этом направлении. Недавно он получил орден королевского дома.

— В чем же здесь комизм? — с удивлением спросил Тамбурини.

— Подождите.

Павиц возбужденно хихикнул.

— В заслугах, вызвавших это отличие. Этим орденом он обязан своим глупостям, которые виноваты в крушении нашей революции. Вы все помните арендаторские беспорядки. Рущук был настолько глуп, что вздумал уничтожить нашу многолетнюю арендную систему. Вы знаете также историю с актером, которого он упрятал в дом умалишенных. С тех пор, как все эти глупости доставили ему орден, он говорит о них, как об интригах. Он совершенно серьезно считает себя коварным интриганом и неимоверно вырос в своих глазах.

— И в моих, — улыбаясь, сказала герцогиня. Все тоже улыбнулись. Павиц сдавил руками бока, невыразимо облегченный. Рущук был счастлив, этого изменить было нельзя. Но он был также смешон, и это поправляло многое. Бла заметила:

— И он воздвигает перед собой стену из торговцев скотом, ростовщиков и сапожников. Сквозь лабиринт таинственных, не особенно чистых рук его деньги невидимо и бесшумно просачиваются все дальше, пока...

— Пока, наконец, не доходят до нас, — с видимым удовольствием докончил Пизелли.

— Официальная особа! Ведет тайную игру и боится скомпрометировать себя, — прошептала про себя герцогиня, смакуя факт во всем его объеме.

— Чего только не может выйти из придворного жида!

«Больше, чем из тебя, бедняжка», — подумал монсиньор Тамбурини, глядя на нее сверху вниз.

\* \* \*

Чаще других в белом домике на Монте Челио показывалась Бла. Она без доклада входила к герцогине в висячий виноградник, где краснели виноградные листья. Молодые женщины были обе одеты в белое, черные косы герцогини Асси спускались на затылке на вышитый фиалками воротник, пепельно-белокурые ее подруги — на воротник из роз. Не касаясь друг друга, ходили они взад и вперед в тени вьющейся крыши, сквозь которую сияли синевой маленькие, в форме листа, кусочки неба. В конце галлереи, у колонн, они иногда останавливались и, склонив друг к другу стройные плечи, заглядывали в щели соблазнительно-красной завесы, сотканной лозами. Бла видела внизу, в саду, какой-нибудь куст или даже только одну из его почек, на которой в это мгновение сидела бабочка. Взгляд герцогини тотчас же находил вдали форум, он погружался в его своды и поднимался вдоль его колонн без трепета и головокружения. Она посылала вдаль свою грезу, свой сон о свободе и земном счастье. Завернувшись в тогу, торжественный и немой двигался он меж тех пустых цоколей, по поросшим мхом плитам, на которых он — она чувствовала это — жил прежде, чем они потрескались и ушли в землю.

После нескольких таких часов, в которые перед их душами открывалась красная завеса грез, они были сестрами и говорили друг другу «ты». Герцогине казалось теперь, что она давно уже шла со своей Беатриче рука об руку, — близ морского берега, в той маленькой церкви, полной ангелов, где две женщины в светло-желтом и бледно-зеленом следовали за мальчиком с золотыми локонами, в длинной персикового цвета одежде. Тот час, который привел ее к концу аллеи, к белому дому под открывшееся окно и к дружескому голосу, час той мимолетной и странно взволнованной лунной ночи был пророческим. «Конечно, — думала герцогиня, — Беатриче и есть та другая, в сиянии серебряной лампады». — Но она никогда не говорила об этом Бла, из улыбающегося стыда, из насмешки над собой, а также почти из суеверия.

Дружба Бла была нежна и благоуханна; тонкий, живой ум часто неожиданно пробивался сквозь ее сердечность. В ее рабочей комнате, среди снопов орхидей и роз, стоял, подняв худую ногу, готовый упорхнуть, узкобедрый, крылатый Гермес из чистого мрамора, с пьедестала Персея Челлини. Уже на лестнице навстречу герцогине неслось благоухание цветов. Вскоре она ежедневно поднималась на пятый этаж углового дома на Виа Систина. Так славно было сидеть на стройной мебели, за светлыми, лакированными столиками, на которых с прямых ваз на растрепанные от употребления книги падали красные и белые цветы. В широкое, как в мастерской художника, окно вливалось море синевы. Внизу на испанской лестнице сверкала жизнь.

Пизелли всегда был тут же. Он пододвигал стулья, заботился о чае и печенье, а в промежутках вкрадчиво играл высокими словами.

— Станьте, пожалуйста, у камина, господин Пизелли, — попросила герцогиня, когда он как-то долго говорил о свободе.

— Прислонитесь к нему поудобнее и стойте спокойно. Вы прекрасны.

— Благодарю, — искренне сказал он.

Его бедра были как раз настолько уже груди, как у Гермеса за его спиной. Пизелли стоял, напряженно эластичный, подобно богу. Каждый мускул в нем знал, что на него смотрят женские глаза. У Бла порозовели щеки, и глаза стали влажны; она сказала:

— Ну, вот, он перестал. Теперь ты можешь сказать мне, Виоланта, что думаешь ты, говоря о свободе. При этом слове, которое любят все, каждый представляет себе самое дорогое для него.

Герцогиня ответила:

— Я, Биче, думаю о нескольких дюжинах пастухов, крестьян, бандитов, рыбаков и о худых, тонких телах, выраставших перед моими взглядами среди камней моги родной земли. Они были темны, неподвижны, их молчание было диким, шкура и тело составляли одну линию из бронзы. Я хочу, чтобы воздух и страна стали такими же сильными, как они: это я называю свободой.

— А я, — заявила Бла, — я свободна, когда могу страдать. Народ, для которого я бросилась бы навстречу опасности, должен был бы вознаградить меня за это так же плохо, как тебя, Виоланта, — ведь он не противится твоему изгнанию, — и я была бы с счастлива.

— Ты скромна, Биче.

— Скромна?

Она улыбнулась.

— Я требую очень много страдания, понимаешь... и если бы случайно из этого вышло мученичество, может быть...

— Этого не должен никто слышать, — сказала герцогиня.

Но Пизелли, несмотря на сочувствующее выражение лица, не понимал ни слова из их беседы, так как они говорили по-французски.

Бла заговорила снова:

— Серьезно, я не бескорыстна. Бескорыстна только ты, Виоланта, только ты не хочешь от свободы ничего для себя. Павиц хочет от нее одобрения, славы и чувства подъема, которое доставляют ему хлопающие и стонущие народные массы. Сан-Бакко нужен размах, и слово «свобода» послужило ему для того, чтобы всю жизнь оставаться в движении. Все это себялюбцы!

— А твой Орфео?

— Ах, Орфео! Он говорит о свободе так сдержанно-благозвучно и так пламенно-гордо. Но я подозреваю, что его свобода это возможность каждую ночь кутить с полными карманами.

Пизелли делал большие, сладкие глаза. Он услышал свое имя и подозрительно прислушивался, тщетно стараясь понять, что именно о нем говорят. Мало-помалу его стали раздражать эти легкие, шумящие шелком создания, болтавшие перед его глазами, бог знает, о чем, быть может, даже о чем-нибудь обидном. Он был мужчина и нашел бы в порядке вещей принудить их к спокойствию и подчинению несколькими сильными ударами своей привыкшей обращаться с женщинами, матово-белой руки, или же какой-нибудь грубостью. И чем злее становились его мысли, тем счастливее и грациознее была его поза. Только лицо искажалось то желанием нравиться, то бешенством. Его тело одно научилось манерам. На лице же выражались наивно и зверски-необузданно все его чувства. Герцогиня совершенно не замечала этого, для нее Пизелли был достойной удивления формой без содержания. Но Бла боязливо улыбалась. Герцогиня, говоря и грезя, смотрела на его тело, как и на тело Гермеса за ним. Он мог бы стоять там нагим точно так же, как и бог, и не удивил бы ее, а только обрадовал.

Герцогиня медленно спросила:

— При этом ты его любишь?

— Конечно, мое сострадание любит бедняжку.

— Сострадание к... этому! Если бы он понял это слово, он высмеял бы тебя. Ведь он здоров, любим и самоуверен безмерно. Может быть, он даже рассердился бы.

— Никогда. Это было бы ему совершенно безразлично. Сострадание раздражает только больных; поверь сестре милосердия... Он чувствует себя сильным и уверенным, а я испытываю сострадание именно к его красоте, его цельности, его успехам, и к спокойствию и непосредственности, с которыми он наслаждается ими. Мы, слабые, не правда ли, мы укрощаем свою судьбу с помощью ума. Для него же существует только случай, счастье или несчастье игрока. Он вооружается против жизни верой в фетишей и упованием на хорошую карту. По происхождению он житель Кампаньи, не имеющий понятия о том, откуда он, а по натуре игрок, не задумывающийся над будущим. Он — только игра случая, бедняжка. Когда я заглядываю в чудесный, темный колодезь его очей, — что только не дремлет там, неведомое ему самому, и всему этому предназначено когда-нибудь выйти наружу. Какие инстинкты! Темные и смутные, как бесчисленные ряды крестьян, исчезающие во мраке за его рождением. Какие судьбы! Может быть, пышность и торжество, может быть, нищета... может быть... кровь.

— Ты поэтесса, Биче! А в часы отрезвления? Ведь ты, конечно, любишь его только моментами.

— Нет... всегда!

— Всегда? Что за слово! Всегда, Биче, любят только нас, женщин. Когда мы отдыхаем, погруженные в себя, тихонько сидим, сложив руки, смотрим в огонь свечи и улыбаемся. Такими жаждут нас мужчины: мне это сказал один в Париже, наблюдавший меня; впрочем, я это знала и без него... Но мужчина! Он ценится не по талии и ямочкам, а по своим делам и уму. С ними он возвышается и падает. Он может быть любимым только в очень счастливые мгновения.

Она колебалась, и имя Павица осталось непроизнесенным из того нежного стыда, который герцогиня узнала только с тех пор, как приобрела подругу.

— Мужчина, которого я когда-то любила, был иногда великим героем. В остальное время я его не знала.

Бла возразила:

— Бедная Виоланта. Я считаю Орфео всегда великим в любви. Разве мужчине, которого я люблю, надо быть великим еще в чем-нибудь? Он исполняет все мои поручения, получает за меня деньги в редакциях. Может быть, он хочет знать, сколько я зарабатываю. Но я думаю, что он избавляет меня от всякой прозы, он устилает цветами мой путь и наполняет ими мою комнату.

Уходя, герцогиня пожала руку Пизелли в награду за то, что он так красиво стоял и украшал ее поле зрения. Она чувствовала желание всунуть ему в рот что-нибудь сладкое.

Пизелли выпрямился и воскликнул:

— Какое счастье! Мы одни!

Он обнял Бла и подошел вместе с ней, в упоении театрального счастья, к широко раскрытому, сияющему синевой окну.

Она умоляюще смотрела на его нахмуренные брови.

— Ты так любовно наклоняешь голову, и все-таки в ней есть что-то яростное.

Его плохое настроение прорвалась с пугающей внезапностью.

— Черт бы побрал эту женщину!

— Орфео!

— Какое высокомерие! — проскрежетал он, размахивая руками. — Какое высокомерие! Но оно будет наказано! Пусть она подождет, ее высокомерие будет наказано!

— Боже мой! Что же она тебе сделала?

— Мне? Решительно ничего. Что она могла бы мне сделать? Разве я хочу что-нибудь от нее? Для такого высокомерия она вообще не достаточно хороша!

— Что ты... Ведь она так прекрасна! Так необыкновенно прекрасна!

— Ах, что там, я знаю сотни более красивых... тебя, например, — снисходительно прибавил он.

— И, к тому же, она холодна, отвратительно холодна. Это уже исключает всякую красоту. Я требую совершенно другого. Совершенно другого. Настоящая женщина... Да в этом все дело!

Он успокоился.

— Она не настоящая женщина.

— Орфео, она моя подруга.

— Это все равно. Я неохотно встречаюсь с ней. Такая женщина... вообще, кто не похож на других, приносит несчастье, это известно. Я хочу тебе кое-что сказать: тебе следовало бы остерегаться ее, она не хорошая христианка!

— Как это тебе пришло в голову?

— Я это заметил. С тех пор, как я ее знаю, я проигрываю.

Он пробормотал:

— Нужно что-нибудь сделать.

— Что же? — боязливо спросила она.

— Ты увидишь.

Он съел несколько пирожных, вышил глоток ликеру и закурил папиросу. После этого он почувствовал свои силы восстановленными, и они вышли из дому. В первом магазине, мимо которого они проходили, Пизелли купил толстую связку роговых брелоков и повесил их себе на грудь.

— Так, теперь пусть она встретится мне.

Бла растроганно улыбнулась. Она поощрила его.

— Это хорошо. Не забывай никогда своего талисмана. Кто теперь может принести тебе несчастье?

В церковь на Корсо спешила толпа народа. Пизелли увлек за ней свою подругу. Священники как раз кончали приготовления к празднику своего святого; в часовне на заднем плане прикрепляли последние венки. Пол узкого помещения был заставлен корзинами с бумажными цветами, среди которых возвышались горящие свечи. Они тесными рядами окружали алтарь, увеличиваясь по мере приближения к нему в величине и объеме. По обе стороны креста пылали две восковых башни. А над колыхавшимися бумажными цветами, прорезанными блуждающими красными огоньками свеч, на цепях качались драгоценности: серебряные лампады, чаша и кувшины, тускло мерцающая или навязчиво блестящая роскошная утварь с чудесными линиями, оживленная рельефными картинами, рядом с хламом из ближайшего базара. Зрачки, глядевшие на все это волшебство, расширялись и становились набожными.

Пизелли разостлал на пыльных плитах свой носовой платок и стал на колени. Он вынул из кармана обвитые вокруг колоды карт четки. Бла склонилась рядом с ним над молитвенной скамьей. Она тихо вдыхала сладкий дым, доносившийся из беззвучно раскачиваемого кадила, и впивала в себя полную прелести крестную муку, которой жаждала, не веря в нее. Пизелли безостановочно крестился, от него пахло шипром, но его страх и страсть возносились перед его богом до такого же тупого благоговения и молитвенного пыла, как и у верующих, стоявших перед и за ним, от которых пахло чесноком. В уме Бла проносились тонкие, слабые воспоминания о мистицизме, соблазнявшем общину утонченных, усталых латинян; унылые листья в вихре осеннего ветра, — падая, они сплетались в венок — стихотворение с увядшим, приторным ароматом. Пизелли глазами, отупевшими от желания, пожирал пестрого святого из воска, стоявшего за решеткой крипты. Его пальцы и губы торопливо творили молитвы; он чувствовал, что, они услышаны, и уже видел перед собой карты, которые должны были принести ему выигрыш. Затем влюбленные встали и пошли дальше рука об руку, как будто принадлежали одному и тому же миру.

Святой обманул доверие Пизелли. На следующий день Бла увидела по своему Орфео, что он проиграл. Это была крупная сумма, и он остался ее должен принцу Маффа на честное слово. Она собрала свои сбережения, пустила в ход весь свой кредит у издателя, чтобы спасти его. Он взял деньги без жеманства. Для Бла это был радостный момент. Сорок восемь часов спустя он вернул все обратно и передал ей деньги в атласном кошельке, вышитом настоящим жемчугом. Но вскоре ей представилась возможность опять помочь ему, и с течением времени все чаще, мелкими и крупными суммами. Ей приходилось видеть теперь холодные лица у прежде рыцарственных коллег-мужчин, когда она хотела получить деньги за статьи, которые еще не были написаны. Мелкие газеты возвращали ей ее рукописи, чтобы не быть вынужденными давать вперед. Она неутомимо ходила по асфальту своей осторожной женственной походкой, изящная и розовая, переходя от газеты к газете, оттуда к литературным маклерам, мелким ростовщикам и состоятельным друзьям. И Пизелли никогда не являлся к своим клубным друзьям иначе, как с полными карманами. Лишения стали сказываться на ней, ее страдания начались, и где бы она ни появлялась, от нее тихо веяло ими, точно счастьем избранной ею судьбы. Весной появились стихи, которыми она обязана была своему знакомству с Орфео. Они имели громкий успех, ими грезили женщины и молодые люди. Бла высчитала, что эта маленькая книжка принесет ей несколько тысяч франков. Однажды, когда Пизелли переживал тревожный кризис, она сбыла ее за двести лир.

\* \* \*

У кардинала продолжали собираться по пятницам. Монсеньер Тамбурини чувствовал себя обязанным давать время от времени герцогине какое-нибудь удовлетворение за крупные суммы, которые она отдала на революционную пропаганду далматского духовенства. Время от времени, с большими промежутками, в палаццо на Лунгаре появлялся какой-нибудь худой бродячий монах; со своими развевающимися рукавами, при скудном свете лампы в середине необыкновенно высокого, по стенам окутанного мраком зала, он имел фантастический вид, когда с широкими жестами повторял одну из своих проповедей. Она была невероятно фанатична, мистична и кровожадна. Он уверял, что держал ее открыто, с амвона наполненной народом деревенской церкви, и кардинал, благосклонно слушавший, говорил себе, что власти, которые оставили бы на свободе такого откровенного оратора, должны были бы быть сумасшедшими. Кукуру, перегнувшись вперед, опиралась руками о колени и со стуком закрывала рот. Бла тихо мечтала, а монсеньер Тамбурини надзирал за представлением, как строгий режиссер, не двигаясь и не поощряя. На следующий день только он и герцогиня еще помнили о мимолетном явлении. Если ничего другого не было, давали говорить Павицу; он рассказывал о своем политическом клубе.

С тех пор, как вместе с управлением кассой у него была отнята и возможность благородно питать свое душевное страдание, он становился все жирнее и меланхоличнее. Его жир происходил от скверных кухмистерских, прогорклых, как его меланхолия, а его подавленная ненависть к госпоже увеличилась на всю сумму долгов, которые теперь угнетали его. Трибун бесцельно бродил по бульварам и кафе, как преждевременно отставленный оперный певец, с обвязанной шеей, ворчливый и не совсем опрятный. В дни, когда у него не было надежды проявить себя перед каким-нибудь слушателем, он проходил мимо всего, даже мимо своего умывального стола; он чувствовал отвращение к отправлениям будничной жизни, завершением которой не была больше трибуна. — Что вы хотите, мне нужен успех, — вздыхал Павиц, читая во взгляде какого-нибудь знакомого удивление по поводу своего падения.

И этот успех, который не давался ему в ярком свете общественной жизни, радовал его на задворках. Это было в погребе нового здания, далеко за городом, где собирались несколько беглых земляков, ремесленники, носильщики и разносчики. Они два раза в неделю смывали с рук пот от тяжелой работы, на которую осуждала их чужбина, и протягивали их к своему апостолу, и вместе с руками — души, переполненные жалостью к самим себе, тоской и жаждой возмездия, освобождения, господства, пиршеств мести, В этом погребе, примыкавшем к катакомбам и почти принадлежавшем к ним, среди искаженных теней бедняг, теней, которые коптящими глиняными лампами отбрасывались на сочащиеся сыростью стены, — здесь, в этой заговорщической атмосфере первых христиан Павиц опять был героем. Спрятавшись здесь, он отдавался безудержным чувствам и с распростертыми руками в сотый раз умирал, хрипя на несуществующем кресте, который все видели. Затем он снова выходил на свет, с красными пятнами на лице, зловеще возбужденный и расположенный к неуклюжим шуткам, словно тайный пьяница, уже почти не помнивший, что когда-то умел величественно наслаждаться вакханалиями под голубым небом.

В пятницу он рассказывал:

— Как эти люди любят меня! Ах! Ничто не согревает так жизни, как любовь народа. Я могу сказать, что для них я полубог.

«Плачевный полубог», — подумала Бла. Кукуру просто фыркнула.

— И я знаю каждого из них по имени, знаю его происхождение в историю! Всех их преследуют исключительно за их убеждения, как и меня, как вас самих, герцогиня. Один из них украл.

— В угоду мне? — спросила она.

— Следуя своему идеалу. Понятие о собственности несвойственно простым душам. И когда должна была вспыхнуть революция, он подумал, что час наступил, и... украл. Другой приносит с собой куклу в генеральской форме, посаженную на шест. Он быстро вращает ее вокруг шеста и прежде, чем успеешь оглянуться, он всаживает нож ей в сердце. Он с трогательной серьезностью отдает все свое свободное время на то, чтобы упражняться в верности этого удара. Когда-нибудь он убьет короля Николая...

Вин и Кукуру взвизгнула.

— Разве король Николай все время вертится вокруг шеста?

Павиц сказал не смущаясь:

— Это юноша с чистым сердцем, с полными души голубыми глазами; он еще никогда не касался женщины.

Дамы смотрели на него, развеселившись и, с легким отвращением; они сами не знали, — к нему или к его юноше. За их спинами молча корчился кардинал.

— Какой честный, негодующий патриотизм во всех их поступках и в каждом движении сердца! Несчастная Далмация, как вы знаете, так разорена своими тиранами, что у нее имеются только бумажные деньги. В справедливом гневе на это один из моих поклонников назвал свою новорожденную дочурку Папирией.

— Конечно, на эту мысль навел его я, — прибавил он, увидя, что произвел впечатление. Он с болезненной жадностью впивал интерес, выражавшийся на лицах, не замечая его насмешливого характера. И он торопливо рассказывал анекдот за анекдотом, боясь, что его прервут.

— Все молятся на вашу светлость! — воскликнул он, так как герцогиня казалась ему невнимательной, и, отчаянным усилием преодолев себя, прибавил:

— Пожалуй, еще больше, чем на меня! Образ герцогини Асси для этих бедняг, страдающих за нее, принадлежит уже к легендарному миру. Они думают, что она сидит где-то в Риме, заточенная в башню. Ее черные волосы свешиваются из решетчатого окна до самой земли. Когда папа проходит мимо, то плюет на них.

— О! — произнесла Бла, восхищенная почти до испуга. Лилиан быстро обратила свое бледное лицо к герцогине, на свежем личике ее младшей сестры впервые появилось что-то вроде задумчивости, а мать с глупым видом таращила глаза. Сан-Бакко, раздосадованный всей этой бесполезной болтовней, ходил взад и вперед несколько в стороне; он вдруг остановился и заметил:

— Наконец-то вы сказали нечто прекрасное.

— Эту картину можно было бы вырезать на камне, — сказал кардинал. — Она очень любопытна. Я расскажу об этом его святейшеству.

— Я хотела бы видеть этих людей, — неожиданно сказала герцогиня.

— Павиц, от кого у вас эта... легенда? Надеюсь, не от вашего чистого юноши?

— От этого, с шестом и... без женщин? — спросила Бла.

— Нет, от двух крестьян, — ответил Павиц. — Они дома избили до крови жандарма. Они бежали за море — как мы, и они жаждут упасть к ногам вашей светлости.

У Тамбурини имелись свои соображения против слишком близкого соприкосновения герцогини с ее приверженцами.

— Что же останется от сказки о башне, если вы покажетесь им среди белого дня в уютной комнате?

— Это могло бы произойти на улице и ночью, — сказала Бла, влюбленная во все романтическое. Кукуру хихикала, задыхаясь от злости.

— Конечно, темной ночью! У-у! И в таком месте, где нет полиции. Знатная дама крадется к двум подозрительным индивидуумам. Все трое в масках и рассказывают друг другу страшные истории. Вдали кого-то убивают, сверкает молния. Ведь так бывает в театре, правда?

— Герцогиня, я буду сопровождать вас! — воскликнул Сан-Бакко.

«Я колеблюсь? — думала она. — Неужели я боюсь?»

Она сказала вслух:

— Именно так, княгиня. Ваше видение превратится в действительность. Для этого надо немного. Я пойду одна на это свидание, благодарю вас, маркиз! Где мы найдем уединенное, по возможности темное место? В окрестностях Тибра, я думаю; может быть, у Арки Менял. Доктор, пошлите мне этих людей.

— Герцогиня... — пролепетал Павиц. Кукуру во второй раз утратила способность понимания.

— Не делай этого! — тихо просила Бла.

Сан-Бако настойчиво повторил:

— Герцогиня, я буду сопровождать вас.

— Идите, герцогиня, — потребовала Лилиан Кукуру, — и идите одна! Я тоже пошла бы совершенно одна!

Лилиан вскочила, она страстно мечтала о ночи, опасности и конце. Быть тем человеком, которого убивают вдали при свете молнии, — она сочла бы это счастьем. Тамбурини был ей в тягость более обыкновенного. Наступала весна, и кровь бурлила в нем. Трагически настроенная в грозовом воздухе сирокко, Лилиан ощущала, как гнетущую тяжесть, низость, совершаемую ее матерью по отношению к герцогине, и нецеломудренность собственной жизни. Ее терзала зависть при виде Бла, которая могла с чистой совестью протягивать руку этой женщине. Ее рука дрожала, и, если бы герцогиня схватила ее, быть может, Лилиан, освобожденная от сковавшей ее судороги, рыдая от благодарности, вне себя, сделала бы множество тягостных признаний.

Но герцогиня быстро простилась.

Несколько дней спустя, она ехала на свое необыкновенное свидание. Пробило час, было темно, шел дождь. Она вышла из экипажа на Пиацца Бокка делла Верита, у берега реки. Тибр катил свои мутные, медленные волны под единственным сводом сломанного моста, словно под затонувшей триумфальной аркой. Герцогиня спустилась по трем ступенькам вниз; площадь была обширна и пуста, заброшена и плохо освещена. Она решительно перешла ее; площадь лежала со своим журчащим фонтаном странно глухая, точно изгнанная из жизни, со своим особенным воздухом, заглушавшим шаги. Здания таинственно окружали ее, словно сказки ночи. Почему храм Весты мерцал, такой стройный и тихий? Низкая, точно устроенная для старых карликов, церковь стояла подле своей длинной, старческой колокольни. Дом Риенци пыжился, причудливо разукрашенный. У его порога что-то прошмыгнуло. Это Павиц побежал к одному из своих собратьев; прозвучал его зов. Перед порталом церкви, возвышаясь над ее крышей, стоял Тамбурини; он бросал взгляды по направлению к языческому храму, где между растрескавшимися колоннами прогуливались Кукуру с Лилиан, Бла и Винон.

— Мои весталки! Весталки, жрецы и трибуны, я могу воскресить здесь все и все населить. Только триумфальную арку я должна еще немного оставить под водой.

Она очутилась на другой стороне и не оглянулась. Она быстро вошла в пустынную Виа де Черки. Опять три ступеньки вниз, затем она остановилась под Аркой Менял и испугалась. Мгновенно, ничем не предупредив о своем появлении, пред ней выросли две фигуры.

«Первый театральный эффект, — подумала она. — Он удался. Они оба черны и прячут головы под своими шкурами. На мне широкий плащ, маску я забыла».

Оба человека без звука, жадно вытянув головы, вглядывались в глубокую тень, которая скрывала от них женщину. Фонарь на стене бросал четыре луча света на их четыре глаза; они искали, робко вспыхивая и светясь, подобно звериным глазам. Вдруг они нашли; и два странных существа очутились на земле, прильнув губами к пыли.

— Встаньте, — сказала она и, так как они не шевелились, нетерпеливо повторила: — Встаньте и отвечайте! Вы избили до крови жандарма?

— Матушка, мы любим тебя, — заявил один.

— А ты? — спросила она другого.

Он пролепетал:

— Матушка, мы любим тебя.

Первый дико топнул ногой и ударил себя кулаком в грудь; под шкурой что-то зазвенело.

— Если бы все твои враги попали под наши приклады!

— А ты?

Второй не сказал ничего. Он был одной из тех строгих статуй в эпических полях ее сна, молодой пастух с черными локонами на низком, бледном лбу, с руками, скрещенными над посохом, неподвижный среди движущегося круга овец и коз. Она подумала: «Животное с прекрасными формами, я охотно сочту его за полубога. Другой ведет себя более по-человечески, но я никогда не грезила о нем». Он был землистого цвета с крепкими костями, редкой бородой и обезьяньими жестами. Он размахивал длинными, узловатыми руками.

— Вы больше не должны этого делать, — приказала она. — Слышите? Вы должны ждать дня, когда я дам вам знать. Что пользы, что вы изобьете какого-нибудь беднягу, который не хуже вас самих?

— Ты ошибаешься, матушка. Тимко был собака и твой враг.

— Вот как? Ты прав.

Она подумала: «Я не должна впадать в старую ошибку, которая столько стоила мне в первый раз, тогда, когда я спросила, виноват ли убийца в своем поступке. Изгнание должно было бы сделать меня более благоразумной. Королевский жандарм в родном селе моих Двух друзей — собака и мой личный враг. Я ненавижу его».

— Расскажите, — сказала она, — что вы сделали для меня.

— Матушка, ради тебя мы сделались разбойниками и спустились с гор.

— Вы были очень несчастны?

— Это была свободная жизнь, на нашем красном воскресном кафтане вместо пуговиц были одни талеры; по дороге за границу мы должны были отдать их все.

— Это хорошо, что вам так славно жилось.

— Это было отлично! Скольким я распорол животы, когда мы спустились с гор! Дворы, которые мы подожгли, наверное, дымятся и до сих пор. Коровы, которых мы увели в горы, теперь, наверное, убежали. Мы не могли съесть всех:

Красавец заметил:

— Это нас очень огорчает.

— Так вы должны были бежать? — спросила она.

Землистый ответил:

— Собака Тимко, которого мы избили, натравил на нас других собак. Они разлучили нас с товарищами, и те погибли, бедняги: Тогда мы сели в лодку. Буря забросила нас далеко от родины, и мы, бедные, тоже чуть не погибли. Мы нищие, матушка, будь доброй, помоги нам!

Она бросила им золотые монеты. Они упали одна за другой, сверкнув в тени арки, точно пламя, языки которого метнулись вверх, до самых глаз этих странных существ. Они повалились на землю, катаясь один на другом, с зловещими шутками, звоном ножей и хриплыми звуками. Безобразный казался сильнее, но красивый боролся бесцеремоннее и захватил большую долю.

«Полубог, — думала герцогиня, — пока он остается статуей. Он показывает лишь изредка, что живет, и притом, как животное».

Они сосчитали оба свою добычу, молча и смиренно. Тибр клокотал. Издали донесся свист, три коротких ноты; он повторился. Наверху, по улице Цирка, вдруг пробежало несколько неясных фигур. Герцогиня пыталась смеяться; она слегка дрожала.

— Все в порядке. Теперь кого-то убивают. В реку его! Как душно, я едва дышу!

Наверху, в черной высоте, несколько раз подряд сверкнула молния, красная и грозная.

— И это было предвидено! Впрочем, — эти разбойники, говорящие о распарывании животов, точно о глотке воды, со мной ведут себя очень почтительно. Может быть, даже еще больше? Скоро они кончат считать? Надеюсь, у меня хватит храбрости. — Она резко спросила:

— Значит, вы хотите за меня пойти на войну?

— Мы любим тебя, матушка, мы умрем за тебя. Дай еще золота! На водку, матушка!

Она дала, нетерпеливая и разочарованная.

— Бояться нечего; речь идет все только о деньгах.

Наконец, отуманенные счастьем, почти размягченные им, они пришли в восторженное состояние.

— Как ты прекрасна, матушка!

— Как ты велика, твоя голова исчезает в башне, в которой ты заточена. Мы знали, что это башня. Сначала это было похоже на арку, но теперь мы видим, что это башня. Заметь это себе, Лациз, мы скажем это дома.

Красавец хрюкнул. Он грубо выкрикнул:

— Матушка, где твои волосы?

Другой подхватил:

— Твои волосы! Дай их, — где они?

Она почувствовала, что теряет самообладание, и подумала о зверях, которые видят, как бледнеет их укротитель.

— Теперь идите домой, — приказала она и сейчас же прибавила, неувереннее и слабее: — Вы идете?

Оба дикаря ползали на коленях, шаря и пыхтя.

— Да, да. Мы все придем освободить тебя. Но дай свои волосы.

Они протягивали руки, но не осмеливались проникнуть под арку. Без стены и решетки она была для них замкнута магической линией.

Герцогиня овладела собой. Она гневно и с силой воскликнула:

— Сию минуту уходите!

Они встали, посмотрели друг на друга покорно и печально и скользнули в сторону. Один обернулся:

— Хорошо, матушка, мы слушаемся тебя.

И они медленно погрузились во мрак.

Она смотрела вслед им. Вдруг, не размышляя, она сказала:

— Вернитесь!

Она решительным движением распустила волосы. Она держала их в руках, они выскальзывали из них, тяжелые и длинные. Вдруг она вспомнила Кукуру. «Это заключительный эффект, — подумала она. — Что за комедия!».

В следующее мгновение она сказала: — И все-таки! — и бросила странным существам свои черные косы, как раньше свое золото. Они уцепились за них губами и зубами. Герцогиня смотрела на них, побледнев, откинув назад голову, точно с высоты башни, с которой, по верованиям этих существ, свешивались ее волосы.

— Теперь идите!

Ее голос едва проник в отуманенные парами чувственности головы. Она почувствовала себя побежденной этой сценой, которой не обдумала. Она вглядывалась в темноту, растерянная и почти слепая от внезапного страха. Она была близка к тому, чтобы позвать на помощь. — Почему? — спросила она и созналась себе: — Потому, что мне стыдно. — При этом она чувствовала, что не хотела бы быть лишенной этой странной торжественности.

Она топнула ногой:

— Идите!

Они зашатались, испугались и исчезли. Она ждала, отвернувшись, пока останется одна. Наконец, она почти бегом, поправляя по дороге волосы, достигла своей кареты. Она бросилась в угол и закрыла глаза, полная диких образов, от которых у нее кружилась голова. Спустя некоторое время ее палец нашел в углу века слезу.

У кардинала она рассказала все, холодно и наглядно. При этом все происшедшее отлилось для нее в определенную форму; она дополнила его черточками, которых ему недоставало. Эти черточки были жестоки, и герцогиня, рассказывая о них, улыбалась еще сдержаннее. Когда она созналась, что дала им свои волосы, ее бросило в жар. Она быстро прибавила, что дикари зубами вырвали у нее большие пряди. Так как они в то же время от яростного пыла кусали себе руки, по волосам у нее текла кровь. Ее голос звучал совершенно равнодушно. Бла на миг почувствовала сомнение в ней, Кукуру было не по себе.

Дома в своем винограднике, над душистой тишиной весеннего сада, она дрожала при воспоминании об этой ночи.

— Кто были эти странные существа? Люди и друзья, нашедшие дорогу ко мне и не имевшие другого значения, чем другие люди и другие друзья?

— О, нет, то, что я видела тогда, было частицей моей души, незаметно отделившейся от меня, красной, теплой и бьющейся. Перед моими глазами она двигалась и играла в чудесную игру, в маскарад, пугающий и чарующий.

Она остановилась и улыбнулась себе самой.

— Это я должна была сказать им в среду! Но ты всегда останешься девочкой на утесе в море, — всю твою жизнь, маленькая Виоланта. С monsieur Henri ты издеваешься над богом и мировой историей, а потом ложишься на берегу своего озера и грезишь с папоротниками и ящерицами.

\* \* \*

Ей не мешали грезить.

В вечер после ее удивительного рассказа монсеньер Тамбурини оставался у кардинала дольше обыкновенного. Его преосвященство был возбужден и заинтересован; он приблизил несколько монет к свету лампады с тремя подсвечниками и смотрел поверх их.

— Обществом, которое мы себе создали для наших сред, я очень доволен. То, что мы только что слышали опять, было в высшей степени замечательно и любопытно. Но теперь скажите мне, сын мой, какую цель вы преследуете этими столь милыми собраниями. Я сознаюсь, что я еще совершенно не интересовался тем, для чего вы собственно ведете политику с прекрасной герцогиней. Для меня, — вы знаете, как я скромен, — очень важны прекрасные, старые монеты, которые она мне дарит. Но вы, человек, так любящий все реальное...

— Ваше преосвященство, вся эта история — случайность, и моя заслуга ограничивается тем, что я не оставил ее неиспользованной. Я нашел герцогиню Асси в монастырском саду в Палестрине...

— Точно цветочек! И вы сорвали его для меня!

— Я взял ее с собой — сначала только из расчета, потому что герцогиня Асси всегда может пригодиться церкви. Я думал об обращении слишком мирской женщины, об ее большом состоянии, а также об интересной и полезной связи с управляющим ее делами, бароном Рущуком...

— Большое светило среди вас, практичных людей, не правда ли?

— Необыкновенно выдающийся человек. Столько денег. Столько денег!.. К сожалению, обращение герцогини невозможно; я принужден был убедиться в этом. Эта язычница недоступна благодати. К тому же ее поместья конфискованы. Я сознаюсь, что вначале это предубедило меня против нее.

— Я понимаю вас, сын мой.

— Но потом я понял, что именно конфискация ее поместий открывает перед нами самые утешительные перспективы, а именно — вернуть ей их и быть вознагражденными за это.

— Вернуть их ей? Вы должны объяснить мне этот кунстштюк. Я не обладаю достаточной гениальностью, чтобы изобрести его самому, но это меня до некоторой степени интересует.

— Очень просто. Далматское правительство разгневано революционной пропагандой, которая велась именем герцогини Асси. Мы начнем с правительством переговоры о подавлении мятежей. Все сведется к цепе, которую оно предложит нам. После успокоения страны правительство должно будет вернуть имущество Асси, оставить конфискацию в силе будет невозможно ни в каком случае. Герцогиня имеет слишком могущественные связи, ее кредит при дворах больше кредита короля Николая. Она получит все обратно и, конечно, выкажет себя благодарной по отношению к нам.

— Вознаграждение с двух сторон! Вы сильнее, чем я думал, Тамбурини. Я только хотел бы еще знать, я нахожу это очень любопытным, как вы думаете устроить, чтобы мятежи прекратились.

— Но мне кажется... раз мы их поднимаем, мы можем и прекратить их.

— Это... Признаюсь, это превышает мою способность предвидения. Итак, возбуждаются восстания; далматские епископы, церковь, — скажем: мы...

— Конечно, скажем: мы.

— Мы возбуждаем в той стране восстание, затем идем к властям и говорим: дайте нам денег, и это прекратится. Хорошо придумано, сын мой. И даже, если это не удастся, все же это в высшей степени остроумная штука.

Кардинал уже вернулся к своим древностям. Но его занимал еще один вопрос.

— Как называют такую остроумную игру? Не вымогательством ли? Мне кажется, что именно так.

И он взял в руку лупу. Тамбурини искренно возмутился.

— Вернуть несчастной изгнаннице ее земные блага — задача, вполне достойная церкви.

— И получить за это вознаграждение.

— Это не безнравственно.

— Я ничего и не говорю, милый сын мой.

\* \* \*

Кукуру также мало интересовалась грезами герцогини. Винон должна была разложить свои письменные принадлежности и аккуратно написать отчет далматскому посланнику о ночном свидании под Аркой Менял.

— Непременно по-французски, моя Винон. Это язык дипломатов.

— Но, maman, если мы не так хорошо напишем по-французски, они дадут, может быть, еще меньше.

— Еще меньше! Негодяи! Хорошо правительство, дающее бедной старой женщине за ее тяжелую работу такое ничтожное вознаграждение! Мы могли бы вышивать на магазины и зарабатывали бы столько же.

На начатое писание быстро набросили рукоделье: в комнату вошла Лилиан.

— Не трудитесь, — сказала она. — Я знала заранее, что вы сегодня будете опять заниматься своим грязным ремеслом.

— Грязным ремеслом? Винон, она сказала: грязном ремеслом? А тратить деньги, которых нет, это более чистое ремесло, моя доченька? Посмотрите-ка на эту надменную, чистую девственницу. Эту зиму она заказала четыре костюма для гулянья и не заплатила ни за один!

— Я живу в хлеву, и, если бы надо было, я питалась бы только сыром. Но я должна на Корсо лежать на шелковых подушках и не могу носить на улице одно платье целый месяц. Я не могу этого, я дама.

— Она дама! Ты слышишь, Винон? А заботится она о том, чтобы ее милый платил портнихе? А когда ее мать говорит ей, что нам нужно в нашей семье второго мужчину для портнихи и кондитера, тогда она почти забывается и становится непочтительна к своей старой матери.

— Ты опять о Рафаэле Календере! О господи, выдумай что-нибудь новое. Это скучно, даже позор может стать скучным.

Лилиан бросилась на диван; он слабо закряхтел.

— Господин Рафаэль Календер, что она имеет против него? Винон, доченька, ты можешь понять, почему она его не хочет? Господин Календер, иностранец из Берлина, богач. Он приехал, чтобы делать здесь дела, потому что римляне для этого слишком глупы. Теперь он открывает огромное варьете, приличное, куда могут ходить и семейные люди. Это здесь еще никому не приходило в голову — зарабатывать деньги приличием. Какой умный человек!

— Еврей с лысиной, доходящий мне до груди. Он и священник будут чередоваться, и один будет отпускать мне грехи, которые я буду совершать с другими.

— Вот она уже шутит! Она еще образумится!

— О, да, maman, будь спокойна, в конце концов я образумлюсь, как всегда. Ты еще толкнешь меня на самые грязные вещи. У тебя есть для этого такой простой секрет: ты повторяешь их мне сотни раз. В первый раз я считаю их совершенно невозможными, сохраняю хорошее настроение и смеюсь. В пятидесятый раз я плачу, я хочу броситься в Тибр — из отвращения. А в сотый я делаю, что ты хочешь — из отвращения.

Винон посмеивалась про себя. Вдруг она подняла глаза, ее брови, более темные, чем волосы, были плотно сдвинуты. Внимательно и вызывающе смотрела она на сестру. Она сказала:

— Да, Лилиан, такова ты.

И она взялась за свое писание.

\* \* \*

Бла охотно грезила бы с подругой; но ее возлюбленный занимал каждое ее мгновение. Он часто бывал в плохом настроении.

— Я проигрываю, проигрываю, проигрываю. Это не всегда было так.

— Почему же это теперь так, мой Орфео?

— Кто-то приносит мне несчастье.

— Как же бедная герцогиня может теперь вредить тебе! Как только ты ее видишь, ты берешься за свои роговые брелоки и вытягиваешь по направлению к ней два пальца. Что же она может сделать тебе?

— Ничего. Это вовсе не она, это другая.

— Кто же?

— Ты сама. Ты слишком любишь меня, это приносит несчастье.

— О небо!

Она была так поражена, что потеряла способность говорить. Так ее любовь стоила ему жертв! По крайней мере он так думал.

— Как глубоко я виновата перед ним!

Она продала свои скромные драгоценности. Когда однажды она не получила денег, которых ждала, ею на мгновение овладела слабость и возмущение против того тяжелого, что выпало на ее долю. Пизелли взял сумму, в которой нуждался, из герцогской кассы.

— Разве мы педанты? — заявил он. — Ты должна была сделать это прежде, чем отдать свои бедные ожерелья. Разве не само собой разумеется, что ты можешь молча взять у твоей подруги ссуду? Тогда ваша дружба не очень многого стоит.

Ей не понадобилось говорить об этом герцогине. На следующий день деньги были возвращены; Пизелли выиграл. Он стал выигрывать постоянно. Ежедневно брал он деньги из шкатулки и ежедневно приносил домой сумму втрое большую. Он был всегда необыкновенно милостив и величественно весел. Она дрожала перед будущим и любила его. Это было время прекрасной гармонии. Орфео подарил ей великолепные брильянты, каких у нее никогда не было.

— Вот тебе обратно твои драгоценности. Я не мог бы перенести, чтобы ты ради меня терпела какие-нибудь лишения.

Она тайком продала их и выручку присоединила к далматскому агитационному фонду. Она пережила тяжелые четверть часа, когда созналась себе, что это искупление.

— Ты больше никогда не проигрываешь, — сказала она. — Теперь ты не будешь утверждать, что моя любовь приносит тебе несчастье.

— Она приносила бы, если бы могла. Но что-то другое действует против этого, — таинственно объяснил он. — И притом гораздо более сильное.

— Что же, мой Орфео?

Она спрашивала тихо. Ее сладко и тревожно волновало заглядывать в глубину его причудливой души. Там все было полно чудес.

Он заставил себя просить. Наконец, он открыл ей:

— Мы не педанты. Но это факт, что ставка, на которую я играю, принадлежит не нам. И собственница ничего не знает об этом! Это крайне важно, ты можешь мне верить или нет. Я часто знакомился в игорных домах с людьми, относительно которых я был уверен — даже когда я не знал этого, — что они играют на чужие деньги. Ты понимаешь: маменькины сынки, взломавшие письменный стол отца, или банкиры, рисковавшие вкладом клиента. Ну...

Он с достоинством остановился перед лакированными ширмами и поучающе поднял указательный палец.

— Ну, эти негодяи выигрывали всегда, — всегда без исключения.

Вдруг он заметил, что она закрыла глаза и густо покраснела. Бесчестие стояло перед ней, и у нее не было мужества посмотреть ему в лицо. Пизелли искренно расхохотался и обнял ее.

— Разве я проворовавшийся банкир? Маленькая дурочка! Пока у меня нет ордена, ты можешь быть спокойна.

Она отважилась на просьбу.

— Ты, по крайней мере, должен был бы быть экономнее. Ты так легкомыслен, мой бедный возлюбленный.

— Я зарабатываю, не правда ли? Кто зарабатывает, имеет право тратить.

Он сидел на Корсо перед богатыми кафе, положив ногу на ногу и легко и изящно наклонив торс в позе человека, вытаскивающего занозу. Его окружала толпа элегантных мужчин и дам, и он угощал всех. Он был счастлив и не отказывал себе ни в каком капризе. Две сестры из Англии, разъезжавшие по континенту в поисках приключений и слишком дорогие для иного миллионера — Пизелли не отказал себе и в них. На следующий день он дал своей подруге подробный отчет, к невыгоде островитянок.

— Попадаешься на их желтые гривы, долговязые фигуры и на их английский язык. Как мы, мужчины, глупы!

Каждый раз, как он заставлял ее ждать, она пользовалась этим, как предлогом, чтобы провести ночь за работой. Он приходил на рассвете, шатаясь и икая, но прекрасный, как мрамор. Она укладывала его, брала его голову к себе на колени и нежно и благоговейно охраняла сон бога. Свет лампы становился желтым и угасал. Солнце пестрило исписанные листы, покрывавшие стол. Бла, измученная и озабоченная, высчитывала, сколько она получит за труд этих долгих, лихорадочных часов. Пизелли потягивался и вскакивал, отлично выспавшись. В его карманах позвякивали деньги, выигранные за ночь; он весело восклицал:

— Какой весенний день! Сегодня мне опять везет!

\* \* \*

Павиц съел за счет Пизелли не один хороший завтрак, но он ел его, затерявшись в толпе гостей, как безымянный прихлебатель. На вопрос о толстом господине в поношенном костюме и грязной рубашке Пизелли заявлял, что забыл его фамилию. Павиц был углублен в свое горе, он не замечал, что молодые франты, задев его, вытирали рукав носовым платком, или что какая-нибудь важная барышня, отец которой чистил водосточные трубы, с гримасой отвращения махала у него под носом букетом ландышей.

Однажды вечером он находился в обществе парижской девы Бланш де Кокелико. Рафаэль Календер пригласил ее в свое варьете, почитатели давали ей ужин. На площадке отлогой лестницы, ведшей в обеденный зал, возвышалось зеркало, чудесно отшлифованное, в резной раме, окруженной гирляндой порхающих ангелов. Свет свечей и все краски горели в этом зеркале ярче, чем в действительности. Оно было словно обитель блаженства, которая широко открывалась, сияя и маня: в него нельзя было не заглянуть. Каждый, кто проходил мимо, замедлял шаги и подавлял улыбку удовлетворения, потому, что зеркало показывало ему только то, что он любил в себе.

Трибун подошел к зеркалу рядом с двумя клубменами. Один восхищался, главным образом, своими бакенбардами и узкими лакированными ботинками, другой — своим новым фраком. Павиц увидел это вдруг прояснившимся взглядом.

— Почему же я весь измят и в складках, как будто сплю каждую ночь на диване? Чищены ли Сегодня мои башмаки? Когда я был в последний раз у парикмахера?

— Он не может оторваться, — сказала за его спиной какая-то дама. Павиц заметил, что остановился. Он подтянул свои брюки, но они сейчас же опять спустились; и он поспешно отошел, покраснев.

Он ел с немым отчаянием. К концу вечера Бланш де Кокелико развеселилась и стала его дразнить. Она уверяла, что внутренний край его шляпы покрыт слоем свиного сала. Она даже попробовала почистить его, облив его шампанским.

Мысли Павица были далеко от дураков, остривших над ним. Он думал о своей фотографии, когда-то висевшей в витринах в Заре. Кто знает, может быть, она висит еще там. Женщины все еще мечтают перед портретом героя свободы, с его благородной красотой. — А я сижу здесь! — Вдруг он со страстной отчетливостью вспомнил серебристо-серые панталоны. Он когда-то во времена своего торжества ездил в них кататься в экипаже герцогини Асси.

Он ушел только тогда, когда было уплачено по счету, и ему больше не давали вина. Затем он отправился в публичный дом. К утру он вернулся в свою комнату, на четвертом этаже какого-то меблированного отеля, посещавшегося коммивояжерами. Ему казалось, что он смертельно устал, но когда он проходил мимо желтого куска стекла, перед которым обыкновенно причесывался, он вдруг задрожал от ярости. Он грозно обернулся к кому-то невидимому.

— Таким меня сделала ты! Злодейка! Ад ждет тебя, будь в этом уверена! Аристократка! Герцогиням место в аду! Ведь они никогда не страдают!

— Так играют человеческою жизнью? — крикнул он, и его ненависть и страсть растворились в слезах. Его мучила тоска по герцогине и серебристо-серым панталонам, — двум предметам, утраченным навсегда. Если бы они оба лежали перед ним, Павиц расплылся бы над ними в бессильном желании.

Он не лег в постель, он до утра говорил с герцогиней.

— Ты — вне законов, потому что ты слишком зла! Тебе можно сделать все, что угодно! Дурно? Нет, ничто не дурно, что может повредить тебе!

После обеда он встретил Пизелли в кафе «Венеция». Он отозвал его в угол и подал ему вексель герцогини Асси, подписанный полгода тому назад. Кожа Пизелли потеряла свой блеск, она стала серой.

«Этот человек принесет мне несчастье», — подумал он. Он тотчас же заплатил из своего кармана и начал при этом уже придумывать, как устранить Павица, в случае, если он повторит свою проделку.

Но Павица ему больше нечего было опасаться. Трибун заказал себе панталоны, но, когда они очутились у него на стуле, он спрятался в кровать. Ему было страшно перед ними и перед своим поступком. Теплота постели смягчила, наконец, его жестокое раскаяние, и он мог заплакать. Он так рыдал, что его живот так и катался по постели, и простыня, покрывшая его, ходила волнами. Утренняя заря застала Павица в молитве на каменных плитах пола.

\* \* \*

Сан-Бакко часто ходил взад и вперед по комнате герцогини. С движениями фехтовальщика, высоким, привыкшим к команде голосом, он заявлял:

— Этого Тамбурини я не люблю. Он волк. А уж княгиня Кукуру и ее дочь — а! Сущие волчицы!

— Бедная женщина! — сказала герцогиня.

— Бедная? О, я думаю, что для всякого женского позора есть прощение, только не для волчиц священников.

— Значит, семья Кукуру проклята?

— Я так думаю. Затем графиня Бла, она для меня слишком остроумна. Доктор Павиц — не знаю, почему он совершенно тупеет.

— Один слишком умен, другой слишком глуп. Милый друг, вы брюзга.

Сан-Бакко не умел истолковать своих чувств, но ему было не по себе в обществе всех этих людей. Они были ему так же неприятны, как некоторые из его коллег в парламенте: важные светские господа, бесчисленные ордена которых возвышались, как знамена, над грудой грабежей и беспринципности. Он не мог уличить их ни в чем, и когда старый гарибальдиец, при поддержке прямолинейных вояк и наивных философов своей партии, однажды напал на ловких друзей правительства, оказалось, что он оклеветал их, сделал себя смешным и получил от президента три порицания.

Как раз теперь он бурно требовал от страны и народного представительства, чтобы болгарам пришли на помощь в их борьбе за независимость, и не только против их угнетателей-турок, но прежде всего против русских, их друзей, которые хуже турок. Он расхаживал в особенно воинственном настроении, расположенный к насмешливым речам и к бунту.

— Дела! Откуда только берется общий страх перед делами? Я не требую, чтобы их делали, — как я могу этого требовать? Но допустить их и смотреть на них — даже на это ни у кого не хватает храбрости: даже у вас, герцогиня! Разве иначе вы отвергли бы мой план, когда я хотел с тысячью храбрецов освободить вашу страну?

Она каждый раз утешала его:

— Ваш час придет, маркиз, — может быть, он придет. Пока мои солдаты носят не красные рубахи, а черные сутаны. Но я прошу вас, оставайтесь моим.

— Я и не мог бы иначе, даже, если бы хотел, — говорил он в заключение, укрощенный, почти робкий, целуя ее руку.

В Сан-Бакко происходило внутреннее брожение, причины которого он сам не понимал. Однако, однажды утром ему все стало ясно, и в одном из порывов, из которых слагалась его жизнь, он написал своему другу письмо:

«Герцогиня!

Я имею честь просить вашей руки.

Вы скажете, что не подготовлены к этому. Я могу возразить только то, что и я до сегодняшнего утра не предвидел этого.

Мне чудится, что я, как когда-то, борюсь на одной из гигантских рек Южной Америки в качестве пирата на службе у республики Ла-Плата против бразильского императора. Мой корабль проезжает мимо зеленого острова, на нем стоит одинокий бревенчатый дом, оттуда на свет ясного утра выходит молодая женщина. Я стою у мачты и вижу ее. Я приказываю спустить паруса и выхожу на землю. Я прошу молодую женщину с черными волосами быть моей и веду ее на свой корабль, и отныне мы боремся бок о бок. Земля, которую я завоевываю, принадлежит ей.

Так, герцогиня, как незнакомку, не размышляя, хотел бы я повести вас на свой корабль. Наши паруса вздуваются, мы вместе проникаем в царство свободы, о котором вы грезите: наши шпаги предшествуют нам.

Почему я не делаю вам предложения лично? Мне стыдно, — и я скажу вам, почему. Я бросаю дело болгар, за которое столько боролся, и весь отдаюсь делу Далмации. Оно важнее для меня, потому что оно важнее для вас. И я не жду больше вознаграждения, как до сих пор, от богини свободы, я жду его, герцогиня, от вас.

Богиня свободы вознаградила меня только славой. Я, завоевавший народам столько свободной земли, в пятьдесят лет живу в номере гостиницы. У меня нет даже садика, но я еще никогда не думал об этом.

Все свои дела я совершал без желания земных выгод. Только за одно, быть может, последнее, я теперь вдруг жажду всего, и самого прекрасного: женщины, которую ясное утро явило моему взору на зеленом острове, и без которой, мне кажется, я не смогу ехать дальше. Я стал себялюбцем, я пал; но теперь я, по крайней мере, сознался вам в этом: судите меня.

Скажите мне, должен ли я остаться и готовиться идти в вашу страну. Если нет, тогда я немедленно вместе с самыми самоотверженными из моих земляков отправлюсь в Болгарию.

И все-таки я всегда буду вашим.

Сан-Бакко».

Она ответила:

«Милый маркиз!

Вы можете ехать и остаться моим. Последовать за вами я не могу. Мы слишком похожи друг на друга: разве вы не видите, что мы оба смелые фантазеры? Я уже пыталась сделать мою революцию так, как вы представляете себе ее: пылко, открыто и насильственно. Теперь я смирилась и предоставляю действовать священникам. Они делают ее, как это им свойственно, т. е. тайно, медленно и с недоверием оглядываясь во все стороны. Первый раз я должна была бежать. Теперь я хочу выдержать; не уговаривайте меня быть непостоянной. Так, как мое дело ведется теперь, оно на взгляд кажется менее прекрасным. Но, не правда ли, маркиз, для нас главное — убеждения, а не дела.

Вы все-таки всегда будете моим: я принимаю ваше слово глубоко всерьез. Когда бы я ни позвала вас, — а я теперь не знаю даже, когда и для чего мне нужен будет рыцарь и честный человек, — вы явитесь без колебаний.

Я не увольняю вас, я только даю вам отпуск в Болгарию. Вы можете ехать.

Ваша

Виоланта Асси».

Вслед за этим Сан-Бакко уехал.

VI

Лето она провела в Кастель-Гандольфо. Ее грезы были глубоки, и жизнь ее скользила по их поверхности, как ее лодка по зеркальной поверхности озера. Осень снова опутала ее красными покровами виноградной аллеи. Сверкающие зимние дни рисовали ей на руинах Рима, в ветре и золоте, образы ее тоски, с крепкими членами и властным взглядом.

Графиня д'Ольней, княгиня Урусова и графиня Гацфельд прибыли в Рим; их осыпали просьбами о знакомстве с герцогиней Асси. Они к своему огромному удивлению узнали, что никто не знаком с их подругой. Герцогиня сама изумилась, когда ей напомнили об обществе: она забыла, что оно существует. В продолжение следующего сезона она танцевала в римских дворцах, возбуждая вокруг себя желания, сама не согретая ни одним проблеском его, точь-в-точь, как когда-то в Париже, — и все же не с такой легкостью и пустотой, как на тех паркетах. Из этих холодно блестевших мозаичных полов ее приветствовали, затемняя ее собственное отражение, серьезные глаза ее сна.

Это продолжалось три года. В марте 1880 года в римском Intransigeante появилось несколько заметок о незначительных столкновениях, происшедших в Далмации между войсками и народом. О национально-далматском деле и партии Асси говорилось с заметным благоволением, и в публике спрашивали себя: почему? Обыкновенно эта газета, которой все боялись, в борьбе двух сторон не становилась ни на одну; большей частью она высмеивала обе. Делла Пергола, издатель, доказывал этим что он не подкуплен никем. Это был известный факт, не было ни одного министерства, которое не страдало бы от его критики, а все партии он объявлял обществами для взаимопомощи при воровстве. Эта прямота создала ему в столичной прессе положение единственное и очень почетное. До сих пор на свете был только один человек, к которому он относился серьезно, и который не был в состоянии отплатить ему за это: это был Гарибальди.

Еще все удивлялись его сердечному отношению к голодающим подданным короля Николая, как он посвятил большую хвалебную статью герцогине Асси. Все жадно искали крупиц злости, которыми журналист умел делать свою похвалу смертельной: напрасно. Это был бурный гимн человека, который, бледный и со слезами воодушевления в голосе, забывает всю сдержанность. Виоланта Асси — величайшая душа эпохи, женщина, дающая мужчинам пример идеальной невинности и храбрости. Ее личность заслуживает стать объектом религиозного поклонения.

Над гимном посмеивались; общее мнение было, что с Делла Пергола дело идет на убыль. Все жалели его, так как он без нужды отказался от превосходства, которое дает злой язык. Но самые сострадательные уже на следующий день были отделаны, как нельзя лучше. Герцогиня нашла номер Intransigeante между своими письмами. Она осведомилась у Бла, что означает это событие.

— Кто этот Делла Пергола?

— Паоло Делла Пергола, ты его знаешь; ты должна была часто встречать его, он бывает в обществе. Подумай хорошенько, безбородое лицо, пробор справа, довольно толстые губы, скептический, вызывающий взгляд, но руки он не знает, куда девать.

— Я не знаю...

— Он бывает в обществе только из самоуважения и держит себя нагло, потому что конфузится. Он, наверное, поцеловал тебе руку и, покраснев, произнес какую-нибудь насмешливую остроту.

— Не помню.

— Все еще нет? Как писатель, он ведет себя точно так же. Он начал с иронии и презрения, исключительно из страха, как бы не осрамиться. Когда он затем заметил, что каждый радовался уколам, которые получал его сосед, и за его бесстыдство никто не призывал его к ответу, он стал считать себя и в самом деле в праве презирать весь мир. Все трусливы и подкупны, только он нет. Сам же он живет трусостью других и своей собственной неподкупностью.

— Чего же он хочет от меня, если он неподкупен?

— Мы увидим. Да, он неподкупен, и я не скажу даже, что это у него из расчета, — скорее из предрассудка и тщеславия. Если бы все были честны, он стал бы красть. Потому что он должен быть иным, чем все — это у него болезненное. Во всяком случае его честность ему на пользу. Каждый раз, как предстоит банковский скандал, все газеты продают свое молчание. Делла Пергола доставляет себе удовольствие говорить. Его тираж доходит до двадцати тысяч, и в заключение правительство принуждено дать ему орден, чтобы показать свое расположение.

Герцогиня задумалась.

— Значит, если он воодушевляется нашим делом, все остальные должны относиться к нему холодно.

— Этого... нам приходится бояться, — сказала Бла.

Герцогиня заявила:

— Во всяком случае он интересует меня. Что ты еще знаешь о нем, Биче? Откуда он?

— Из мрака. Одни говорят, что он был актером, другие — что он еврейский агент из Буэнос-Айреса. Я думаю, что он просто литератор без творческой силы. Он не в состоянии создавать характеры сам, своим творчеством, но он умеет очень ловко расчленять существующие в действительности. Поэтому он взялся за политику и теперь занимается душевной анатомией над министрами и финансовыми баронами. Его коллеги узнают людей только по признакам их партии. Делла Пергола знает кое-что об индивидуумах. Он объясняет их психологию, что в нынешнее время уже не трудно, их физической природой, а эту последнюю ставит в зависимость исключительно от нижней части живота. Знаменитый поэт, по нему, страдает неврастенической фантазией, оплодотворенной задержками в пищеварении. Благородные мечтатели-реформаторы, по его мнению, славные малые, склонные к приливам крови к голове, причина которых заключается, быть может, в слишком продолжительном воздержании. При процессах банковских воров прокурор — мономан без следа знания людей, судья — голодающий, больной печенью завистник, присяжные — растерянное, одураченное стадо, знаменитый защитник — ловкий остряк, тривиальный и сантиментальный, с почерпнутым из бульварных романов миросозерцанием, а обвиняемый — добродушный простак с тяжелой наследственностью. Все вместе необыкновенно просты, не совсем вменяемы и в достаточной мере достойны презрения. Особенная способность Делла Пергола заключается в том, что он высказывает все это так, что не к чему придраться. Он не бранит противника, — он вообще никогда не имеет дела с противниками, а только с характерами, которые он расчленяет. Он занимается психологией, — правда, настоящей психологией камердинера, нескромной и низменной.

И в искупление всей своей бесплодной злости он время от времени приходит в экстаз при имени Гарибальди. Он говорит о нем не иначе, как с нежным умилением и почти таинственно, как будто между ним и стариком можно предполагать совершенно особенные отношения. Он бросает, это великое имя в лицо всем тем, которые думают, что они что-нибудь делают: — Будьте, как он, если можете! — с задней мыслью: — Если бы вы были такими, вы были бы безвредны. — Скрытая пружина всего этого — зависть, беспокойная зависть ко всем, кто тоже способен на что-нибудь, и в особенности, конечно, к тем, кто пишет. Делла Пергола — плебей, который сам не понимает, откуда у него столько таланта. С таким же изумлением, как и торжеством, он докладывает своим читателям о каждом тайном советнике, который посетил его на дому, чтобы переманить его на свою сторону с помощью интимных сообщений. Он называет это: достичь власти, сидя у себя в кабинете.

Герцогиня, улыбаясь, смотрела на разгоряченную подругу. Она обняла ее рукой за шею.

— Биче, ты описываешь его поразительно... наглядно. Сознайся, что он тебя очень оскорбил.

— Меня — никогда. Но он... расчленил нескольких людей, которых я уважала. Я ненавижу его, как грабителя моих иллюзий.

— А если бы этого и не было, — ты ведь его... коллега. Сознайся. Биче?

— Сознаюсь, — сказала Бла.

\* \* \*

На балу у князя Торлония герцогиня попросила представить себе журналиста. После первых десяти слов оказалось, что он совершенно влюблен.

Она едва могла вспомнить его лицо. В нем было что-то английское, пожалуй, напоминающее английского актера. Очевидно, он всегда терялся в массе черных фраков. Ноги у него были чересчур длинны, — может быть, только потому, что он носил очень узкие панталоны и слишком короткий жилет. Он играл необыкновенно красивой тростью, из яшмы и черного дерева, с толстым хрустальным набалдашником. С недавнего времени трости начали брать с собой в гостиные: эту моду ввел принц Маффа. Она подумала: «А, он нашел средство занять свои руки. И сейчас же он написал свою статью и отважился приблизиться ко мне».

Он без всякого предисловия заговорил о принцессах, которые в одиноких морских замках вместо легенд о героях вдохновляются народной душой.

— И наконец, она, окруженная ликованием бедняков, открывает свой величественный невинный поход. О! Насмешливый хохот действительности никогда не пробьет панциря ее грез: я горячо верю в это.

— Вы повергаете меня в изумление, — сказала она, думая про себя: «Влюбленность портит его вкус».

Он объявил:

— Мир, герцогиня, лежит у ваших ног, а вы остаетесь так холодны, как будто вы из серебра. Я и не удивляюсь, что вы не испытываете ничего необыкновенного при виде маленького критика, теряющего из-за вас голову. А между тем мне казалось, что эта голова сидит крепко.

— Я считаю ее даже неподвижной, — заметила она.

— Вы... не верите мне? — тихо спросил он, вертя трость то в одну сторону, то в другую.

Шлифованный хрусталь привлек ее взгляд. В это мгновение он повернул его, так что преломление света не мешало ей видеть его внутренность. Она увидела черно-голубое поле с запертыми воротами; перед ними лежал белый гриф.

«Какая дерзость, — подумала она, — он разгуливает с моим гербом».

Она пожала плечами и отвела глаза. Он прошептал едва слышно:

— Ведь в сущности, я энтузиаст! Не верьте ничему, герцогиня, что вам сказали обо мне! Я наивен и легко воодушевляюсь, и, если бы я не знал, что тогда все было бы кончено, — в это мгновение я лежал бы у ваших ног!

Она сделала гримасу.

— В благодарность за вашу высокомерную улыбку, — прибавил он. — Вы считаете меня хитрецом, вас убедили в этом. На я только притворяюсь им, чтобы обезоружить насмешку и внушить страх. Вам я сознаюсь в этом. Вы видите: я не могу скрыть от вас ничего о себе. Вы верите мне?

— Уберите, наконец, трость с моих глаз. Вы совершили бестактность.

Он накрыл хрусталь рукой и раздражил ее этим еще больше. Он как будто завладел ее образом и ее судьбой, которую скрывали эти прозрачные стены.

— Вы верите моим словам?

— Я не даю себе труда сомневаться в них.

Он неловко, но решительно придвинул кресло и сел.

— Знаете, герцогиня, почему нас здесь оставляют одних?

Его манера выражаться ставила ее в тупик. Она подняла глаза: гостиная была пуста. В соседней комнате в свирепой позе стоял на своем пьедестале залитый белым светом колоссальный Геркулес, швыряющий в море Ликаса. За ним был виден двор с великолепной галереей. Там у входа толпились сотни ожидающих.

Глаза герцогини помимо ее воли смотрели вопросительно. Делла Пергола ответил, морща лоб:

— Проперция Понти.

— Проперция, — повторила герцогиня, — та, которая создала это, — вот это?

Она чувствовала трепет.

Делла Пергола кивнул по направлению к Геркулесу.

— Она самая. Она же бросила на него и снопы света. Каждый канделябр стоит там, где она его поставила. Что за кулаки у этой женщины! Три дня тому назад она вернулась из Петербурга. Какой триумф! А вот и она!

Вошла мощная женщина. — Она так огромна, — сказала себе герцогиня, — что голова с копной черных волос над низким лбом кажется слишком маленькой. Не крошечная ли голова и у ее Геркулеса?

Молодой человек, белокурый, изящный и худощавый, снял накидку с ее тяжелых плеч. Она взяла его руку, сверкая пурпурным атласом.

— Кто это?

— Господин де Мортейль, парижанин, как видите. Она привезла его с собой.

— И?..

— Конечно. И в довершение комизма он не хочет ее знать. Самое большее — она возбуждает его тщеславие.

— Бедная Проперция!

Герцогиня была потрясена. Как могло величие так забываться! Проперция была живой, движущейся мраморной глыбой. Ее сильные руки боролись с другими глыбами. Мысли в этой голове должны были быть написаны на мраморных столах могучими буквами. А прилизанный карлик царапал на них, скептически улыбаясь, свое имя.

Она почувствовала досаду на Проперцию и горячее презрение, как к родственнице, запятнавшей фамильную честь. Великая художница прошла мимо, окруженная почтительной толпой. Герцогиня продолжала сидеть и смотрела в сторону.

Сильное неудовольствие, вызванное жалким чувством Проперции, пробудило в ней желание быть бессердечной. Она сказала:

— Проперция бесформенна, как ее колоссы, и чьи руки достаточно сильны, чтобы ее обтесать? Уж, конечно, не у ее парижанина.

— Она мягче, чем думают, — ответил Делла Пергола. — Такая толстуха!

Его грубая шутка оттолкнула ее. Но она засмеялась.

— Наконец, вы проявили себя. Значит, вид Проперции не вызывает в вас ничего поэтического?

— Я больше не осмеливаюсь... Вы напугали меня, герцогиня. Это была бы не первая бестактность, к которой вы меня соблазняете.

И лучи хрусталя пробились сквозь его пальцы.

— Как это вам вздумалось?

— Вы спрашиваете? Желание быть замеченным вами заставило меня выйти из своей роли. Я впал в естественность.

— По природе вы...

— Человек безобидный и увлекающийся. Вы все еще не верите этому?

Она раз навсегда видела в нем только те черты, которые нарисовала Бла.

— Нет.

— Но вы думаете, что Проперция сильнее маленького парижанина? Она покорит его, под ее тяжестью он забудет свои насмешки, не правда ли? Ну, так вот, герцогиня, я ношу в своем мозгу маленького, остроумного парижанина, трезвого, порочного и утонченного. Он очень боится попасть в смешное положение и никогда не показывает своих слабых сторон. Но вот является Проперция, хватает его и прижимает его головку к своим волнующимся каменным плечам, так что у него пропадает все остроумие. Проперция — сила, невинность действий, великое чувство. Проперция, герцогиня, это вы. Когда я узнал вас, мой маленький парижанин погиб.

— Я вижу это.

— О, вы не видите еще ничего. Сначала слушайте. Я буду работать для вас. Далмация сделается в моей стране национальным делом, а вы, герцогиня, станете популярны. Я могуществен, и если бы даже этого не было, я стал бы могущественным, потому что вам, герцогиня, нужно мое могущество. Но за это я требую вашей любви.

— Что?

— Я весь отдамся вам, а я не отдавался еще никогда в жизни, но в вознаграждение я требую вашей любви.

Она поняла его только теперь. У него было наглое лицо дельца, запросившего слишком много; при этом он побледнел от напряжения. Чрезмерность его наглости парализовала ее возмущение. Он забавлял ее.

— Вы хотите писать для меня? — просто сказала она. — Сколько статей и когда?

— Столько и до тех пор, пока победа будет за мной. Я ставлю на карту свое существование.

— Какая смелость!

«Как мило, — думала она, — напоминать мне об этом!»

— Впрочем, вы делец и должны рисковать.

— Но за это я хочу, чтобы вы позволили мне любить себя.

Она хотела рассердиться, но подумала: «Я хочу опозорить себя сантиментальностью, как Проперция? Он может пригодиться мне, он хочет заключить со мной договор. Почему нет?»

— Но моя милость дорога, — сказала она.

Он поспешно спросил:

— Значит, вы согласны?

Очевидно, он едва надеялся на это. Он настойчиво повторил:

— Значит, вы согласны! Я ловлю вас на слове. Не забывайте, что вы сказали: да! Требуйте же, чего хотите, я решился на все. Я знаю, что делаю... Но вы больше не имеете права взять свое слово обратно.

— Не кричите хоть так! Зал наполняется, нас слышат. Подождите минуту, сейчас начнется музыка.

Она говорила, прикрываясь веером. Намеренное легкомыслие ее речи кружило ей голову, оно доставляло ей наслаждение, неожиданное и горькое. Что это за любовник, старающийся опутать ее словами, как адвокат! Она заговорила снова:

— Кто ручается мне, что вы сами останетесь при своем решении? Вы потеряли голову, мой милый. Когда вы опять найдете ее, вы вспомните, что вы неподкупны.

— Я, в самом деле, неподкупен, — ответил он с важностью, — но вами, герцогиня, я хочу быть подкуплен.

— Что ж, пожалуй.

— И именно вашей любовью.

— Я отлично понимаю.

Она рассматривала его и думала: «Завтра он скажет себе самому, что это значит. Слава неподкупности для него все. Как только узнают, что он корыстолюбив, никто не будет больше считаться с ним».

— Моя милость стоит необыкновенно дорого, — объявила она. — Вы должны писать только для меня и каждый раз так, чтобы это производило очевидное действие. Вы должны агитировать, разъезжать, отдать всю свою личность: каждая минута вашей жизни моя.

— Ваша. Но мне принадлежит ваша любовь. Вы уже не можете отступить. Скажите, когда я буду счастлив?

— О, вы торопитесь. Сначала успех, потом вознаграждение.

— Это не годится. Как я могу ждать успеха? Когда он придет, я не смогу уже повернуть назад. Подумайте только. Тогда вы бросите меня, и я буду обманут и лишен всего — своего права презирать подкупленных и обладания герцогиней Асси.

— Невероятно!

Она громко расхохоталась. Страх, что он останется в убытке при этой сделке, заставлял его наносить ей самые неприличные оскорбления.

Начались танцы, их окружили болтовня и смех. Разгоряченные тела касались их колен. Делла Пергола сказал, ни на минуту не отвлекаясь от дела:

— Мне важно избегнуть недоразумений. Итак, тотчас же, как начнется моя кампания, герцогиня, я становлюсь вашим возлюбленным. С корректурой моей первой статьи в руках я иду на наше первое свидание.

У нее вырвалось:

— Очевидно, вы не привыкли к успеху у женщин?

Он смотрел на нее, пораженный.

— Надеюсь, я не оскорбил вас?

— Чем же? Но я остаюсь при своем.

Она встала.

— Сначала успех.

— Герцогиня, прошу вас, войдите в мое положение!

Он не отходил от нее, лепеча:

— Как я могу положиться на это! Я не настаиваю на своих условиях, но поставьте сами более приемлемые.

Так как она не ответила, он боязливо спросил:

— По крайней мере, вы не берете своего слова обратно?

— Ни в каком случае.

— Значит, я буду счастлив? Но когда! Ну я, значит, буду счастлив...

Ее увлекла группа дам. Она думала:

«Он еще не может поверить этому. Когда тайный советник навещает его в его квартире, он тоже с трудом верит своему счастью».

Сейчас же вслед за этим ей пришло в голову:

«Но о тайном советнике он тотчас же сообщает своим читателям! Не рассказал бы он им завтра, что надеется быть услышанным герцогиней Асси!»

\* \* \*

Он чуть не сделал этого. Мысль, составлявшая его гордость, пробивалась на следующий день во всех его фразах. Она рвалась у него из-под пера, и он с трудом сдерживал ее.

Он сидел, откинувшись назад и устремив глаза на большого бронзового Гарибальди, стоявшего напротив него на краю широкого письменного стола. Через два зала доносился гул типографских станков. Делла Пергола размышлял.

— Как это случилось? Она, — я не помню уже, когда это началось, — засела в моем воображении. Ведь в сущности, в душе я недоразвившийся поэт, подверженный катастрофам. Я спросил себя, кем ее считают другие. Другом народа. Это была, конечно, нелепость, как все предрассудки других. Более хитрые или враждебно настроенные утверждали, что она честолюбива. Но она гораздо больше, чем честолюбива, — она горда. Стать королевой Далмации, царства коз, — для нее, несомненно, не цель, достойная имени Асси. Я решился видеть в ней нечто необыкновенное, великую мечтательницу, Гарибальди в юбке — и Гарибальди несчастливого. Какая это была поистине глубокая идея!

Но в то же время я перестал бывать в обществе. Видеть эту женщину стало для меня слишком мучительно. Ее красота, своеобразие ее души, ее оригинальность — все мучило меня, потому что обязывало меня стать ее другом, если возможно, ее возлюбленным. Другие были чернью, все — чернь, кроме меня и этой женщины. К сожалению, я не мог не уважать ее. Я должен был приблизиться к ней, а я был менее ловок, чем любой дурак. Это было страшно мучительно, но я должен был.

Ну, слава богу, это свершилось. Один раз я был близок к тому, чтобы написать о ней что-то очень злое — чтобы разрядить возбуждение, которым я был обязан ей, во вред ей. Потом мне пришел в голову этот хрусталь. Все удалось мне, благодаря хрусталю и воле, холодной и ясной, как он.

Я выказал перед ней великолепную гордость, полную высоких чувств. Мой характер я описал ей с поэтической глубиной и с ловкостью, достойной государственного человека. Как остроумно говорил я ей о Проперции и о моем маленьком французе. Для нее я обращаюсь к запасу моих поэтических мыслей, которые я целомудренно скрываю от мира, — как могло бы это не польстить ей. Я убежден, что она уже совершенно увлечена.

А! Она утверждает, что я потерял голову. Но если я, в самом деле, потерял ее, я воспользуюсь случаем и хоть раз отдамся наслаждению. К чему я добиваюсь власти, если я из осторожности не выхожу из своего кабинета. Я хочу, наконец, отдаться порыву, страсти и безумию, донкихотству и идолопоклонству.

Да, я буду поклоняться ей, этой Виоланте Асси, — может быть, даже любить ее. Но доверять ей — нет. Все, что у меня есть: репутация, честь, одиночество и выдержку, все это разом выбросить для женщины, — это прихоть, прихоть большого барина, которую я позволяю себе. Но отдать ей все это, прежде чем она отдастся мне, и без уверенности, что она сделает это когда-либо, — этого я не в состоянии.

Если бы она знала, как охотно я сделал бы это! Это тоже мучительно. Но если бы я попался, — такое простодушие сделало бы меня навсегда невозможным в собственных глазах!

Он явился к ней с рукописью, в которой заботы о судьбах Далмации объявлялись долгом всех порядочных людей без различия партий. Тот, кто мог улыбнуться над этим, был заранее осыпан презрением.

— Я согласна, печатайте.

— Когда прикажете, ваша светлость, — сказал он с низким поклоном, — явиться за гонораром? Статья будет до тех пор набрана.

— Я остаюсь при своем: сначала успех.

— Вы упорствуете?

— А вы?

— Значит, не стоит больше говорить об этом.

— Кажется. Вы неподкупны.

Он пришел опять и просил уже не вознаграждения, а милости.

— Если вы этого не заслуживаете, вы еще меньше имеете права требовать чего-нибудь заранее, я хочу сказать, прежде чем я увижу ваш успех.

— Вы правы, я сделал промах.

И он опять начал деловито излагать ей основания, по которым она должна скоро удовлетворить его.

— Будьте благоразумны. Весна проходит. Мертвый сезон будет вам стоить опять полугода. В следующую зиму надо ждать некоторых скандалов, которые будут так доходны, что, может быть, соблазнят меня бросить ваше дело...

Из всего этого она заключила, что он почти не желал ее. Его тело, как ни страстно он иногда выражался, почти не доставляло ему хлопот.

— Почему тогда у Торлония он сделал мне свое невероятное предложение с таким искренним трепетом? Что за странно упорный софист! Может быть, ему просто засела в голову герцогиня? Или он хочет настоять на своем, как в газетной полемике?

Женщина в ней возмутилась. В разговоре она вдруг устремляла на него пристальный, дразнящий взгляд, словно вспоминая, кто он такой. Она иногда клала свою руку на развернутую корректуру рядом с его рукой и сейчас же опять отнимала ее. Мимолетное прикосновение ее прохладной кожи заставляло его терять самообладание; он говорил себе, что он дурак, и грубо переходил к любезностям. Но ее высокомерие окутывало ее точно холодным плащем. Он замолкал, бледнея.

Однажды она имела удовольствие видеть его на полу. Она никогда не позволяла его страсти прорваться вполне; она скользила над ее пропастями, как конькобежец. Она думала о том, что в Париже, в семнадцать лет, она поступала точно так же, во времена Папини, Тауна, Рафаэля Риго. У нее даже явилась мысль, которая тогда была бы наивной и которая теперь казалась ей только ироническим преувеличением:

— Лишь бы только он не застрелился, прежде чем вообще напишет что-нибудь!

— Я обещаю все, что вы хотите! — воскликнул он у ее ног. — Я лежу на полу и обнимаю ваши колени. Разве я не ваш на жизнь и на смерть? Но...

И он поднял кверху руки.

— Не верьте тому, что я говорю в этом состоянии! Сегодня, слава богу, типография закрыта, а завтра я не сделаю ничего из того, что принужден обещать сегодня.

— Я знаю это, мой милый. Все это излишне. Если бы вы не брали взяток только из расчета, это не имело бы никакого значения. Но вы человек мозга и воли и поэтому, удовлетворю ли я ваше желание или нет, вы совершенно неподкупны.

Он вскочил.

— Нет! Я подкупен! Как объяснить мне это вам? Я хочу быть подкупленным вами! Неужели невозможно убедить вас в этом?

В конце концов, он в полном отчаянии выбежал из комнаты.

\* \* \*

В начале июня герцогиня, как всегда, отправилась на берег Албанского озера. Она просила журналиста не навещать ее в Кастель-Гандольфо, и он обещал со снисходительной улыбкой.

— Как будет издеваться над ней в одиночестве деревенской жизни ее воображение! — говорил он себе. — Как будет она жаждать газетных статей, которые дают ее химерам сколько-нибудь осязаемую жизнь! Я не буду навещать ее, нет, — но она придет ко мне. Кто знает, быть может, через месяц она будет уже моей, а я начну писать для нее только в октябре.

Месяц прошел, и Делла Пергола спросил себя:

— Почему я чувствую себя раздраженным и усталым? Ведь я никогда не езжу на дачу, и жить хотя бы неделю, без столицы, которую я каждый день уверяю в своем презрении, было бы для меня невыносимо. Или жара в этом году необыкновенная? Что со мной?

Он знал, в чем дело, и мало-помалу сознался себе в этом в беспощадных выражениях.

— Чем эта женщина так глубоко волнует меня? Презрение ко всему миру, которое я, плебей, так успешно присвоил себе, — у нее оно врожденное. Ей никогда не придет в голову мысль: «Ты тоже человек». И я вечно в страхе, что мне могут напомнить это. Как хотел бы я быть аристократом, совершенно недоступным аристократом! И то, что я нашел женщину, которая именно такова, почти не думая об этом, в этом моя судьба.

Эта женщина еще выигрывает в отсутствии. Представляешь себе ее, эту далекую Юнону, на вершине Олимпа ее грез, который, я почти готов верить этому, наполнен исключительно немыми статуями. Какая мука думать об этом!

Чтобы иметь возможность говорить о ней, он сошелся с Павицом, который и не желал ничего лучшего. Трибун ненавидел Делла Пергола; он видел в нем неизбежного любовника своей госпожи. Его мучила запоздалая ревность: «Я мертв для нее, — думал он. — Она сама погубила меня, злодейка. А теперь ею будет обладать другой, которому далеко до меня, каким я был тогда. Каким героем я был!»

Каждый раз, как он встречал журналиста, он с ожесточением старался обескуражить его. Они вместе ходили по Корсо, в полдень, в душной тени полотняных навесов. Медное августовское небо тяготело над опустевшими дворцами. Франты со своими барышнями исчезли с тротуаров перед кафе, пестрые продавщицы цветов спали, с раскаленных порогов порталов спасались бегством золоченые портье. При появлении одинокого иностранца с парусиновой шляпой на затылке владельцы дорогих магазинов выходили на улицу и предлагали дешево свои товары. Испарения из лавок, духи, запах цветов и табака смешивались с запахом нагретого асфальта, а над всем носилось дыхание клоаки. Облако дыма от папиросы стояло в тихом воздухе по четверти часа.

Они со вздохом облегчения вошли в кафе Рим. Делла Пергола заказал изысканный завтрак и за это получил право принять за десертом участие в воспоминаниях трибуна. Желание похвастать боролось в трибуне со страхом пробудить страсть в другом. Несколько рюмок зеленого шартреза решили дело, и он принялся с красноречивыми жестами разбирать перед глазами собеседника формы герцогини Асси.

— Бедра восхитительно длинны и упруги. Что это за тонкое, крепкое тело! Чувствуешь породу, как только прикоснешься к нему.

— Не воображайте, что я верю хоть одному вашему слову, — сказал Делла Пергола ядовито и с выражением страдания на лице.

— Но рассказывайте дальше!

— Вам угодно сомневаться в том, что я обладал герцогиней? Да, почтеннейший, я могу даже описать вам диван, на котором это произошло. Над спинкой, несколько выдаваясь вперед, так что можно было легко удариться о нее головой, парила большая золотая герцогская корона. Я никогда не забуду ее. На внутреннем краю — а в моем характерном положении, вы понимаете, я мог снизу заглянуть внутрь — позолота облупилась. Ну? Можно выдумать такие подробности?

— Значит, было легко овладеть ею?

— Легко? Что вы воображаете? Вы, дружок, не получили бы ее никогда. Я, конечно, я — другое дело. Такого мужчины, как я, она еще никогда не встречала. Что за личностью я был! Вы знаете, с моим именем связано изрядное количество романтики. Любовь моего народа окружает меня, как стена, и теперь, и больше всего теперь, когда я несчастен. А! Чем несчастнее мы все, тем, лучше. Тем горячее жалеем друг друга и тем смиреннее становимся. Пей, братец, выпей рюмочку, бедняга. Ты тоже еще научишься верить этому.

— И потом она, конечно, прогнала тебя, злополучный ты человек, — сказал Делла Пергола через плечо. Его искушало бешеное желание обработать кулаками мягкий живот Павица и сорвать лоснящуюся бороду с его вялых, толстых щек.

— Она моя, — крикнул он себе. — К моей муке она моя, потому что, к сожалению, я принужден уважать ее. А это животное касалось своим мерзким телом ее прекрасного тела!

Представление об этом мучило его среди жары. Он питал свою страсть все новыми интимностями трибуна.

— Теперь расскажи, как она прогнала тебя!

— Она не прогнала меня, — объявил Павиц, подавляя рыдание. — Она была слишком зла, эта аристократка; поэтому я ушел. Смотри, что я сделал из нее и что она из меня. Я вдунул в нее свое дыхание, под солнечными лучами моего существа она расцвела. Разве без меня она сделалась бы спасительницей народа? Ведь она женщина, слабое существо, нуждающееся в оплодотворении волей и мыслью мужчины. И этот мужчина был у нее. Ах, что за мужчина я был! Поверь мне, ты не получишь ее никогда!

Делла Пергола вздрогнул.

— Потому что она любит меня, братец, она тоскует по мне. Такого она не найдет больше никогда. Но она убила моего ребенка, которого я очень любил; поэтому я покинул ее. Теперь пусть она тоскует, я никогда не вернусь к ней. Нет, клянусь богом, я устою против соблазна.

Он всхлипнул и выпил. Журналист рассматривал его: груда зловонного жира, неумытая и пыльная; но в ней скрываются чары, приковывающие меня.

Он подал Павицу руку, его лицо исказилось ненавистью.

— До свиданья, любезный. Завтра мы опять завтракаем вместе.

Павиц продолжал сидеть, засунув руки в карманы брюк. Он смотрел на собеседника снизу вверх налившимися кровью глазами. Он злобно пошутил:

— Оставь безнадежные желания, братец! С тех пор, как я бросил ее, она умерла для любви. Да и кого она могла бы захотеть после меня? Скажи сам. Уж, конечно, не тебя.

Делла Пергола ушел и тщательно вымыл руку, которую пожимала рука Павица. Наводившая тоску жалкая фигура трибуна с каждым днем занимала все больше места в его сознании. — Сделался ли он таким потому, что любил ее? — с содроганием спрашивал он себя. — А я? Что предназначено мне? Какое несчастье быть поэтом в душе! Вынужденная холодность и нечувствительность стольких лет сразу сметена циклоном страстей. У меня такое чувство, как будто мне суждено исчезнуть в нем.

Ночью его давил кошмар. Расплывающиеся мешки жира Павица душили его, он с ужасом слышал его астматическое хихиканье, боролся с ним и истекал кровью. Утром он решил:

— Этот зловещий христианин и пьяница, очевидно, без моего ведома внушил мне страх. Тем лучше. Теперь в дело вмешивается самое простое чувство чести. Было бы трусостью отступить хоть на шаг. Итак, решено, я буду любить герцогиню.

— Я поеду к ней и овладею ею! — воскликнул он. — Покорность моей судьбе освобождает меня от всех обещаний, и она узнает это! До тех пор я дам, наконец, свободу своему воображению — хотя бы это было смертельно!

В мыслях он подстерегал ее за купаньем в озере, но, несмотря на все напряжение, не мог увидеть ничего, кроме ее черных волос. Они носились по светлой поверхности воды, кусочек плеча матово блестел между косами.

— Я вижу, что в моих воспоминаниях нет дивана с герцогской короной. Ах! Если бы я мог всего себя наполнить ее телом, насытиться и стать спокойным. Я хотел бы обладать ею, чтобы завоевать право презирать и забыть ее. Если бы я, по крайней мере, знал, что и ее ночи томительны и ее дни мучительны!

\* \* \*

Она страдала так, как он только мог пожелать. В начале сентября, когда жара давила даже под старыми дубами верхней галереи, она попросила Бла приехать к ней. В высокой аллее над озером подруги встретились. Они молча обнялись, Бла опустила глаза, у нее не хватило духу оправдать свое долгое отсутствие.

— Я едва надеялась, что ты сможешь приехать, — сказала герцогиня. — Ты за это время сделалась знаменитостью, Биче. Какой странный талант появился у тебя! Но у тебя усталый вид... и не особенно счастливый, мне кажется.

— А у тебя? — пробормотала Бла.

На фоне атласной поверхности озера, которую тихое дыхание воздуха собирало в узкие, золотисто-голубые складки, профиль герцогини показался ей еще тоньше, чем прежде, еще более резко очерченным и еще более прозрачным. Брови были тревожно сдвинуты неведомым страхом. Они пошли дальше, рука об руку, молча. Герцогиня сейчас же вернулась к своим мыслям, а Бла не хотела мешать ей. Бла была тиха, рассеяна и робка; ее горе поглощало ее. Пизелли все еще играл на деньги герцогини, но он, давно уже перестал выигрывать. — Если бы ты меньше любила меня, бедная дурочка! — говорил он. — Чужие деньги должны были бы принести мне счастье, но, конечно, такая глупая любовь, как твоя, уничтожает действие.

Она старалась лихорадочной, безумно смелой работой пополнить вверенную ей кассу, которую он ежедневно опустошал руками игрока. Среди страстного потока фраз она вдруг отрывала глаза от работы, ее дыхание становилось громким и частым, и вместе с бесплодным шумом крови она чувствовала непреодолимую безнадежность своих усилий. У издателей она никогда не заставала денег, всегда оказывалось, что Пизелли уже получил их. «Ведь он приходил по вашему поручению?» — спрашивали ее. — Конечно, я ошиблась. — И она улыбалась.

Пизелли занял прочное положение в качестве одного из законодателей светской жизни. С недавнего времени он стал говорить по-итальянски не иначе, как с английским акцентом, и иногда останавливался, припоминая какое-нибудь слово. Это изобретение сделало его на время самым желанным любовником богатого полусвета. Немало красивых дам нанимало для него уединенные, нарядные комнаты; у него не было нужды возвращаться к своей измученной работой, печальной и исхудалой подруге, вынужденная веселость и кроткая любовь которой раздражали его.

Когда его не было чересчур долго, страх гнал ее из типографии в ночные кафе. Пизелли при ее появлении притворялся, что не знает ее, или, в хорошем настроении, приглашал ее выпить. Он предложил ее принцу Маффа, наглядно расхвалив ее достоинства. «Он не представляет себе, бедняжка, — думала она, — что было бы с ним, если бы он потерял меня». Чтобы сделать пробу, она в ресторане Буччи пошла ему навстречу под руку с издателем одной газеты. На следующий день он потребовал крупную сумму! — ...«Ведь ты поймала богача...» Она стояла, оцепенев, и дрожала; в душе у нее звучало: «Я погибла».

Несколько дней спустя, он в первый раз ударил ее и вскоре привык приходить к ней не иначе, как с хлыстом в руке. Он ненавидел ее за все те заработанные ею деньги, которые расплылись в его бесплодных руках, за те, которые она еще давала ему, и за те, которых больше уж нельзя было выжать из нее. Ее охватывал ужас перед дикой складкой между его бровями, перед его зверским взглядом и темно-красной отвисающей губой. При этом она жаждала погибнуть от его белых, сильных рук. Узкобедрого, крылатого Гермеса с пьедестала Персея Челлини, поднимавшего для полета свою худую ногу в ее рабочей комнате, среди снопов орхидей и роз, Пизелли однажды сбросил ручкой хлыста на землю.

— Ты разбил его, — сказала Бла. — Ты веришь в предзнаменование — разве ты не видишь, что разбил самого себя? Ах, направляй свою ярость только на меня! Ты не можешь убить меня иначе, как разрушив самого себя!

Между тем, ее талант достиг развития, на которое все смотрели с удивлением. Вместе холодной грации ее прежних мыслей во всех ее фразах клокотало бурное отчаяние. Ее слова опьяняли читателя. Казалось, женские руки охватывали его шею, а кончики грудей рисовали буквы на бумаге.

— Почему собственно мы находим друг друга настолько изменившимися? — спросила герцогиня. Она задумалась.

— Биче, почему ты несчастна? Скажи мне.

— Скажи лучше ты мне, что тебя мучит. Я, ты знаешь, не несчастна, когда страдаю. Мне нужно мое маленькое мученичество. Но ты, Виоланта, ты жила так тихо и уверенно в своем царстве грез, которое отделяла от земли красная лиственная портьера. Почему ты вышла из-за нее, кто разорвал завесу?

— Время, Биче. Я грезила слишком долго. И тогда кто-то всунул голову и позвал меня по имени: я думаю, это был Делла Пергола.

— Он сделал это? Но ты наказала его, не правда ли? О, он еще помнит, как ты обошлась с ним. Его остроумие в последнее время стало несколько жидким, а это значит, что его тираж падает.

— Я не обошлась с ним плохо. Я заключила с ним договор. Он будет писать для меня, пока не добьется успеха. Тогда я стану его возлюбленной.

— Ты станешь...

Бла остановилась, задерживая дыхание.

— Ты станешь его возлюбленной. Ты серьезно сделала бы это?

— Конечно. Если это может принести мне удачу.

— Ты отдалась бы мужчине, от которого ты хочешь что-нибудь, ты употребила бы свою любовь, как плату?

— Почему нет?

— Когда мы из страсти, я говорю, из страсти к какому-нибудь делу или... мужчине, совершаем вещи, которые буржуа осуждает, — ты не находишь этого дурным?

— Я знаю только дурные чувства. Поступки зависят от наших целей. Мне кажется, что они не важны.

— Как ты прекрасна! — с бурным ликованием воскликнула Бла.

Она бросилась на грудь подруги.

— Как я благодарна тебе!

— Благодарна? За что? Но, Биче, ты плачешь.

Герцогиня подняла со своего плеча мокрое от слез лицо.

— Я уже не решалась показаться тебе на глаза, — прошептала Бла.

— Из-за твоего Орфео? Ты могла думать, что я осуждаю тебя за него?

— Нет, не правда ли? Ты не осуждаешь меня ни за него, ни за что-либо другое, даже если бы ты знала все. Почему нам не любить друг друга просто, тебе и мне, невинно жить и делать все, что хочет наша судьба. Как я тоскую по бессознательному! К чему столько сознательности! Разве мы должны знать, то, что происходит рядом с нашей любовью и за ней? О, Виоланта, теперь мне не надо больше мучиться!

— Нет, Биче, успокойся!

Она поцеловала подругу в закрытые глаза, на которых лежало счастье, как отблеск солнца. Одно мгновение Бла казалось, что она созналась во всем. «Для такой любви, как между Виолантой и мной, пустая касса не существует. Виоланта улыбнулась бы, если бы я показала ее ей. Только то, что мы чувствуем, правда, а не то, чему мы дали совершиться».

— Успокойся, Биче, ты все еще дрожишь.

— Я буду спокойна. Вот видишь, я думаю только о тебе. Я думаю, что ты должна заставить его быстро действовать и скоро сделать то, что ты ему обещала. Как хорошо это было бы, как просто и невинно! Не думай больше! Завоюй свою страну и свой сон! Он любит тебя...

— Теперь ты грезишь сама, Биче. Ведь мы взрослые люди, он и я, даже довольно старые и умные. У него имеется некоторая чувственность, — я, конечно, заставила ее выйти наружу — но очень мало слепой страсти; или, по крайней мере, он должен был бы непрерывно подбодрять себя: «Я хочу быть слепым, я хочу быть слепым». Я не верю, что он из страсти ко мне оставит свою роль, роль всей своей жизни. Мне почти кажется, что я слишком уважаю его, чтобы поверить этому... И все-таки эта вера нужна мне, как средство успокоения. Моя слишком продолжительная, мечтательная бездеятельность ослабила и раздражила меня. Я блуждаю целый день в мучительной скуке, а ночью лежу на своей постели у широко раскрытого окна в страшной тревоге. Я подставляю воздуху свое обнаженное тело, я вся горю, сверкает молния, и я в томлении вижу на пылающем горизонте темные, холодные фигуры моей родной земли, бронзовых пастухов, разбойников, рыбаков и крестьян. Когда за мной будет победа? Или я забыта в изгнании? Не конец ли это? Не упустила ли я время для дел или даже время... для жизни? Биче, ты знаешь такие ночи? Страх забирается даже в кончики пальцев на ногах, я покупаю часок тупого избавления — не любовью Делла Пергола, а порошком хлорала, сульфонала или морфия.

Полдень тяжело лежал над пустынным озером; оно сверкало, белое как олово. Уединенная аллея, затканная зеленым, заканчивалась вдали темными лиственными массами, которые, блестя и шумя, казалось, спускались с верхушек до самой земли. Подруги стояли, прислонившись к крутой спинке старой каменной скамьи. Они обхватывали львиные головы на концах ее, гладили потертые гривы возбужденными, матово-белыми пальцами, на которых блестели бледные, узкие ногти. Бла нагнулась к герцогине и обняла ее одной рукой; они скользнули друг к другу на гладком мраморе, усталые, облегченно вздыхая после исповеди в своих горестях и счастливые возможностью отдохнуть плечо к плечу. Черные косы одной сплетались с белокурыми другой, их ароматы смешивались, щеки мягко касались друг друга. Цветы у их поясов целовались. Легкие складки их светлых платьев сливали свой шелест.

— Дорогая Виоланта, — сказала Бла. — Плачь!

— Чтобы и та частица воли, которая еще осталась у меня, расплылась в слезах?

— Насладись своей печалью. В глубине души мы все жаждем креста.

— Я — нет. Самый суровый крест — это смерть. Я каждую ночь изо всех сил отталкиваю ее от себя и живу, — мучусь, но живу.

— К чему мучить себя? Ведь так легко упасть, нет, скользнуть в объятия смерти, как мы только что скользнули друг к другу на полированном мраморе.

Герцогиня быстро выпрямилась.

— Нет! Я цепляюсь за свою львиную голову. Неужели я погружусь в смерть, как в грезы, которые слишком долго держали меня в плену? Теперь я чувствую, что снова живу. Страдания пробили окна в моей темной душе: теперь из них глядит столько нового, будущего, столько стремления... к вещам, которых я еще не знаю. О! Я чувствую благоговение перед жизнью!

Бла пробормотала со слезами разочарования:

— Как преступен тот, кто разбудил тебя. Мы были подругами, пока ты грезила.

— Ты хотела быть моей подругой: я благодарна тебе и никогда не перестану любить тебя. Но я благодарна и ему, потому что он разбудил меня. Если бы только он начал уже действовать! Я исполню свое обещание и исполню его равнодушно и не буду мстить за то, что делаю это. Но это тяжелые дни.

— Бедная! Мужчины часто доставляют нам тяжелые дни.

— Мужчины? Я думаю больше о его типографских станках, чем о его мужских качествах. Я не сплю от нетерпения, вот и все.

— Виоланта, я умираю из-за мужчины и умираю охотно. Ты мучишь себя почти до смерти своей высокомерной волей, почти до смерти. Но когда смерть хочет, наконец, прижать тебя к своей груди, ты отталкиваешь от себя ее, утешительницу. Только что еще мы стояли тесно прижавшись друг к другу, пронизанные сладким трепетом нашего общего страдания и слившись друг с другом. А теперь от меня к тебе едва ли ведет еще какой-нибудь мост, какое-нибудь слово. И для чего я жалуюсь?

— Чтобы я взяла тебя в объятия, маленькая Биче, вот так, и сказала тебе, что мы будем любить друг друга, не умирая. Чувствовать благоговение перед жизнью!

Бла горько вздохнула.

— Иногда надо очень много благоговения, чтобы выдержать ее. Ты, Виоланта, художница, как тот, кто когда-то умер на моих глазах. Я, в сущности, всегда была доброй мещанкой, но я видела много горя безымянных и отверженных. Тот, о котором я говорю, был один из самых жалких. Его картины покрывались пылью в лавках старьевщиков, грязная болезнь убивала его. У его постели сидели два товарища и курили ему прямо в лицо, а он говорил в жару о своей великой тоске по всему тому, что спало в нем, чего он сам еще не знал: ты слышишь, Виоланта? — по своим будущим произведениям. Его пальцы судорожно цеплялись за пестрый маскарадный костюм, висевший на стуле, его взгляд не отрывался от огненной гвоздики в глиняном черепке. Он был не в состоянии оторвать свои чувства от этой земли, которая казалась ему несказанно прекрасной, и умер внезапно, охваченный отвратительным страхом, крича и сопротивляясь.

— Его смерть была, конечно, очень некрасива, он должен был бы покончить с этим наедине с собой. Но его жизнь...

— О, конечно, жизнь таких людей действует ободряюще. Они так любят землю, так жизнерадостны, они возбуждают нас. Мы должны были бы как-нибудь поехать в Рим, и пусть они зажгут нас.

\* \* \*

На следующий день рано утром они поехали. Их экипаж остановился на Пиацца Монтанара, среди залитой солнцем толпы пестро одетых крестьян из Кампаньи, разгружавших двухколесные телеги с остро пахнущим сыром и опрыскивавших капусту водой из красивого колодца. Обе женщины вступили в прохладную тень уединенного переулка, прошли через почерневшие сводчатые ворота и поднялись по зеленоватой, сырой каменной лестнице, полутемной, с маленькими решетчатыми окнами. На третьем этаже Бла сказала:

— Я предполагаю, что ты не будешь смотреть, как на оскорбление, ни на что, что увидишь здесь. Иначе было бы лучше сейчас же повернуть обратно.

Герцогиня пожала плечами.

— Ты знаешь, я скучаю.

— Это сейчас прекратится, — заметила Бла.

Двумя этажами выше она постучала. Раздалось громкое: «Войдите». При их входе что-то шлепнулось на пол; высокая, голая женщина спрыгнула с матраца узкой железной кровати. Коренастый маленький человек ударил кистью о мольберт и заревел:

— Ты будешь стоять, каналья!

Но она опустила руки, черные волосы спутались вокруг ее лица, и она вытаращила большие, темные звериные глаза на обеих дам. Напротив нее, на другом конце комнаты, красовалась другая нагая женщина, гораздо более мощная, женщина-чудовище с красным теплым телом и сверкающими жирными выпуклостями. Она изгибала бедра в неуклюжем танце, поддерживала руками свисающие груди и смеялась, откинув назад голову, плотная, белокурая, со вздувшейся шеей и влажными, толстыми губами.

Она была нарисована на облупившейся известковой стене, и у ее ног было большими буквами написано: «Идеал».

Посредине, между роскошными телами этих двух бессловесных созданий, в комнате находилось трое мужчин: плотный карлик у своего мольберта, кто-то черный, худощавый, не шевелившийся в углу, и хорошо сложенный молодой человек перед большим голубым отверстием окна. Он вынул руки из карманов, папиросу изо рта и пошел навстречу посетительницам.

— Милый Якобус, — сказала Бла, — мы пришли убедиться, что вы еще ничего не утратили из своего величия. Вас в последнее время совсем не видно.

— Я не виноват. Я слишком много работал или, вернее, слишком много продавал.

— Тем лучше. Моя подруга хочет видеть, что вы пишете. Виоланта, позволь тебе представить господина Якобуса Гальма.

Художник едва поклонился. Он пожал плечами. Герцогиня с изумлением рассматривала его. Он ни минуты не оставался в спокойствии; кожа у него была желтовато-смуглая и сухая, густые каштановые волосы падали волнами на светлый гладкий лоб. На худых щеках волосы росли плохо, на подбородке они были цвета старого золота и развевались двумя мягкими, длинными концами. У него был смелый нос, зоркие и солнечные глаза и красные, как кровь, маленькие губы. Он подбирал их и показывал, не смеясь, свои белые зубы. На нем был высокий, черный галстук без воротника, тонкая рубашка из бледно-лилового шелка, поверх нее вылинявшая старая куртка, фланелевые панталоны, а на ногах совершенно новые лакированные ботинки. Он сказал:

— Не угодно ли дамам осмотреть музей? К сожалению, в данный момент содержание его скудно, недостающее вам придется заменить идеалом.

И он указал на бабу на стене.

Модель схватила юбку; она проявляла намерение покрыться ею. Но Якобус овладел бесформенным одеянием и швырнул его под кровать.

— Ты хочешь показать дамам свои лохмотья? Это неприлично, Агата! Дамы пришли, чтобы видеть что-нибудь красивое. Теплое золото твоих бедер — самое красивое, что ты можешь показать. Итак... Прав я, сударыня?

Герцогиня кивнула головой и улыбнулась. Якобус произнес все это резким голосом; он высокомерно отвернулся.

Напротив окна красовались две большие картины, два борца с каменными затылками и выпуклыми мускулами на красном ковре и черный бык с витыми рогами, направляющий их на врага. Герцогиня остановилась перед ними, но сзади было что-то, беспокоившее ее. Наконец, она заметила, что черный, худощавый, жадно смотрит на нее из своего угла. Она спокойно смерила его взглядом. Длинные черные волосы падали гладкими прядями на воротник, усыпанный перхотью. У него не было бороды, губы были узкие, нос большой, бледный, взгляд неприятно горящий, с выражением страдальческой похотливости. Бла увидела, что этот взгляд раздевает и оскверняет ее подругу; она покраснела от гнева. Герцогиня сказала себе: «Если у него всегда такое лицо, он очень несчастен. Самый неумный человек легко найдет его больное место; самый низкий — выше его». Она, снисходительная и серьезная, сделала два шага ему навстречу. Коренастый человек писал, пыхтя; вдруг он крикнул:

— Посмотрите, что я делаю! Это стоит труда!

— Вы рисуете эту модель, и ваш друг тоже?

— Мое не стоит труда, — холодно заявил Якобус; он повернул свое полотно к стене.

— Оставайтесь у Перикла, прекрасная дама, он доволен собой, он убедит вас, что и вы должны быть довольны.

Короткий человечек пожал плечами.

— Какой дурак! Хочет уговорить себя и других, что может сделать лучше, чем делает. Заметьте себе, сударыня, мы можем то, что делаем, и делаем, что можем! Больше этого не сделаешь. Посмотрите-ка, как у этой моей нарисованной женщины переливается под кожей кровь. Уметь написать кровь под кожей — вот искусство! Присмотритесь к трицепсу моего борца. Не хочется ли вам пощупать его? Он потеет, вы прилипли бы к нему. Эта картина продается. Другая тоже. Как мастерски написано это животное! Животное! Это и есть настоящее, все должно быть животным! Большие голые тела, выпуклые мускулы, и должно быть слышно, как шумит под кожей кровь.

Якобус стал между ним и посетительницами.

— Знаете, мне стыдно за этого плоского хвастуна!

Затем он начал опять слоняться по комнате, с равнодушным видом засунув руки в карманы, с ртом, полным дыма от папиросы. Белые колеблющиеся облака присоединялись к запахам красок и скипидара, исходившим от ящиков и бутылок. Человечек шумно засмеялся.

— Ему стыдно! Совершенно верно, вам всем может быть стыдно, потому что в сравнении со мной, Периклом, вы только буржуа.

Он перекинул через стул маленькую толстую ногу, уселся на него верхом, в брюках и рубахе, и самодовольно поглядывал вокруг. С его изрытого оспой, покрытого щетинистыми волосами лица струился пот, и он говорил громовым голосом:

— Что я за художник! И что за работник! У меня нет погони за настроениями и остальной чепухой. У меня нет на это времени, я просто пишу. Теперь, когда так жарко, я сплю с одиннадцати утра до семи вечера. Надеюсь, вы скоро удалитесь, сударыни, потому что теперь половина одиннадцатого, и я сейчас отправляюсь на покой. С семи часов вечера до трех утра я угощаюсь и немножко развлекаюсь с любезными особами. Но как только рассветает, я принимаюсь писать. Восемь часов под ряд кисти не сохнут. А! Что это за прекрасная жизнь! Я творю от избытка сил! Без унылого томления, как вот у этого дурака. У меня все — действительность. Я просто закругляю руки и уже чувствую, что они полны мощного, мускулистого, тепло окрашенного мяса. Сейчас же к полотну! У меня не бывает, чтобы мне не хотелось работать.

Он с грохотом вскочил со стула, покатившегося по красным плитам, и бросился на Агату, модель. Он крепко обхватил ее спереди и сзади и взвешивал складки ее тела в своих ручках. Якобус сказал через плечо:

— Перикл, притворись хоть на полчаса, что ты хорошо воспитан!

Человечек изумленно фыркнул. Он сунул голову под кровать: там находился его запас платья. Он вытащил пару манжет и натянул их на свои шерстяные рукава. Затем он опять занялся моделью.

Рядом с нарисованным идеалом стояло лицом к стене большое полотно в раме. Герцогиня коснулась его.

— Жаль ваших белых перчаток, — сказал Якобус. Он повернул к ней картину.

Она молчала несколько минут, и он рассматривал ее профиль. Он мягко расплывался на волнующейся полуденной синеве, перед большими красными, зелеными, фиолетовыми бутылками, сверкавшими у окна. Белая, слегка волнистая линия ее фигуры выделялась нежно и тихо. Она чуть-чуть изогнулась вперед, бессознательно благоговея и внутренне склоняясь перед богиней.

Наконец, Якобус сказал, понизив голос:

— Я замечаю, вы видите это. Вы видите, что эта женщина высокомерна, холодна и готова плакать при соприкосновении с «другим», с действительным. Тем не менее она должна положить на рог кентавра свою руку, свою худую, в жилках, медлительную, холодную руку. Ее манит ужас, а, может быть, в ней говорит высокое, далекое страдание.

Герцогиня подтвердила:

— Я вижу это. Я вижу также, что это, должно быть, Паллада Боттичелли, пропавшая Паллада!

— Да. Мне вздумалось еще раз изобразить богиню, о которой грезил флорентинец... Делал ли он это? Нет, я не верю рассказам об этом. Он не написал ее, ему не удалось сделать ничего, кроме известных этюдов. Но огромная греза тех, кто жил четыреста лет тому назад, продолжает жить во всех, кто жаждет красоты. Когда мы на одно мгновение становимся очень велики, в нашу кисть переливается ощущение, которое было у одного из тех, четыреста лет тому назад. Я запечатлел это ощущение. Я утверждаю, что это Паллада, которую написал бы Боттичелли.

Герцогиня размышляла:

— Эта Паллада некрасива, — медленно произнесла она. — Но в ее глазах горит ее душа. Она прекрасна от тоски по прекрасному. Как глубоко чувствую я ее сегодня!

— В том, что вы говорите, заключается все. Наша доля — тоска по прекрасному, а не его достижение. Поэтому мы чувствуем эту Палладу до самой глубины. Достижение — быть может, оно принадлежит таким животным... — Он указал плечом на коренастого человечка за своей спиной. — Этот осмеливается запереть красоту даже в свиной хлев: ведь он сам свинья; и я почти думаю, что это ему удается. Когда я вот так смотрю на это, я, в конце концов, начинаю гордиться тем, что сам я не могу смотреть красоте в лицо. Чтобы я был в состоянии делать это, мою душу должно было бы укрепить немножко счастья или, по крайней мере, благополучия. Тогда, я чувствую, я создал бы нечто, о чем мир... — Он колебался, затем у него вырвалось сквозь стиснутые зубы, с мучением и хвастливо: — О чем мир никогда и не грезил.

Он стоял перед тихой богиней, скрестив руки, надменный и не вполне уверенный в себе. Герцогиня смотрела, как блестели его зубы между короткими, красными губами и как красный свет венчал его смело спутанные волосы. Он показался ей сильным и высоким, с костлявыми плечами, стройными ногами и без живота. Она обернулась к Бла, которая стояла в стороне, надувшись. Не сознавая этого, несчастная надеялась, что ее подруга будет оскорблена и принижена этими людьми. Она видела ее заинтересованной и оживленной и страдала от этого. Она называла себя завистливой и злой и страдала еще больше.

— Биче, — воскликнула герцогиня, — посмотри же на этот шедевр. Несозданное творение старого мастера! Его гений вернулся, он перескочил через четыреста лет!.. Эта картина, вероятно, не продается? Да и в этот момент я не могла бы дать столько, сколько она стоит. Я предлагаю три тысячи франков.

Все вдруг затаили дыхание. Эти стены еще никогда не слышали слов «три тысячи». Наконец, маленький Перикл издал протяжный свист. Якобус резко сказал:

— Картина, в самом деле, не продается. Впрочем, я оставляю за собой право самому назначить цену.

— Но... — начала Бла.

Из угла, где стоял черный худощавый, донесся хриплый звук ужаса. Перикл бесновался по комнате, онемев от ярости. Вдруг он стал на голову. Придя опять в себя, он пропыхтел: «Дурак!» и «Хорошо, я молчу». На улице крестьянин из Кампаньи громко предлагал свежий сыр. Перикл вложил две медные монеты в корзину и спустил ее на веревке из окна. Корзина вернулась обратно, нагруженная. Перикл набил себе рот сыром и бросил корку через плечо в сторону Якобуса с презрительной гримасой, говорившей:

— Попаду я в него или нет, мне все равно.

Якобус с упрямым лицом смотрел мимо герцогини. Он хотел говорить насмешливо и сказал очень мягко:

— Сударыня, — я не знаю вашего имени, — вы ошиблись, эта картина не имеет никакой особенной ценности. Гений флорентинца ни в каком случае не вернулся. Истина проста: я был на одно мгновение побежден и вознесен жаждой красоты и как раз в эту минуту держал кисть в руке. Я жажду ее часто, но обыкновенно кисть лежит на полу.

Герцогиня улыбнулась, Якобус смирялся все больше.

— Мы слишком часто жаждем, а кисть лежит на полу. О, мы не пишем Паллад, мы сами Паллады... И в наших глазах горит наша душа. Вот этот Беллосгвардо...

Он указал на худощавого в углу.

— Он вообще умеет только таращить глаза. Посмотрите хорошенько на этого подозрительного субъекта со взглядом, оскорбляющим вас, сударыня, хотя вы и решили не дать ничему здесь вывести вас из спокойствия. Вот так, как он стоит и молчит, мой друг прекраснее всего дюжинного сброда вашего безупречного общества. Он горит страстью к искусству, он жаден к красоте, он всегда так скован желанием всего побеждающе-прекрасного, чем полон мир, что ум и рука отказываются служить ему: он совершенно не пишет, он таращит глаза, и при этом он больше художник, чем мы все.

Бла сказала с раздражением:

— Он отвратителен.

— У него прекрасная душа: разве вам мало этого, моя милая?

Подошел Перикл с остатками сыра в одной руке и с бутылкой в другой.

— Я не позволяю себе суждений о чепухе, которую он наговорил вам, чтобы прикрасить свою лень. Я учился только рисовать, а не умничать. Художники должны говорить руками. Но одно я хочу вам все-таки рассказать. Этот исполненный чувств юноша спустил вчера все свои эскизы и наброски жиду и купил себе на вырученные деньги лакированные ботинки. Посмотрите, как великолепно сидят.

Якобус смотрел в воздух, переступая с ноги на ногу.

— Да, это правда — презрительно объявил он. — Я нуждаюсь в роскоши. Я принужден оплачивать ее, чем придется. И как дорого я оплачиваю ее. Вы считаете эту комнату пустой. Стену, на которой висели мои эскизы, Перикл заполнил чудовищем, которое представляет для него идеал. Моих набросков нет, думаете вы. Да, но их души остались здесь, смутные фантомы, которые неотступно мучат меня: они хотят, чтобы я дал им жизнь. В состоянии ли я еще сделать это?

— Нужно вернуть эскизы, — сказала герцогиня. Художник пожал плечами, Бла пояснила:

— Еврей, купивший их, тотчас же распродал их всем бродячим торговцам во всем Риме. Господин Якобус отдал их за два сольди, дешевые любители искусства приобретут их за франк штука. Такие оригинальные рисунки пользуются огромной любовью иностранцев.

— Я сделаю вам другое предложение, — сказала герцогиня. — Я ищу хорошие копии. Копируйте, господин Якобус, по вашему усмотрению шедевры, которые вас соблазняют, и передавайте мне все ваши работы за определенное годовое содержание.

Опять все стихли. Якобус открыл рот, но герцогиня перебила его.

— Биче, если ты ничего не, имеешь против, пойдем.

У двери она дала ему свою карточку; он не взглянул на нее. Он церемонно пропустил ее вперед.

— Вы зайдите, как-нибудь ко мне; надеюсь, мы сойдемся и заключим формальный контракт.

При этом слове она подумала о Делла Пергола. «Какие различные контракты! У меня такое чувство, как будто этот освобождает меня от того. Но разве я хочу это?»

С порога она еще раз оглядела комнату. Перикл повернулся к ней своей квадратной спиной. Беллосгвардо гнусно таращил глаза; боясь потерять ее из виду, он громко дышал, и его бледное лицо подернулось розовым налетом... Агата, нагая модель, мирно, как животное, сидела на корточках, на пустом матраце погнувшейся железной кровати. На стене грузно плясала баба, носившая имя идеала. Со стен падала известка, из красных плит некоторые были разбиты, одной не хватало. Пестро вышитые, потертые лоскутья тканей висели на соломенных стульях. В углах был сложен в кучу всякий хлам: негодные рисовальные принадлежности, глыбы мрамора, выпачканные полотна. Все это хвастливо выступало при ярком свете дня, а красные, зеленые, фиолетовые бутылки на окне как будто кричали от ликования, что все это живет. Бросив последний пристальный взгляд на глаза Паллады, герцогиня вышла, полная приподнятого чувства счастья, как бы несомая сильной радостью жизни, которая грозила взорвать эти убогие четыре стены.

Якобус проводил ее до следующего этажа. Она подала ему руку, он поцеловал ее робко, почти смиренно. Она почувствовала только, как волосы на его бороде задели ее перчатку; его губы совсем не коснулись ее.

— Я продаю Палладу, — сказал он. — Она стоит пятьсот франков.

Она улыбнулась.

— Я беру ее.

Он медленно повернул обратно. Она прошла еще три лестницы, вдруг наверху раздался дикий топот. Вниз мчался Перикл, один этаж с гулом бросал его другому. Он поднимал кверху мраморный торс, могучий живот и половину двух грудей. Он тяжело дышал и запинался; он узнал, кто была посетительница.

— Ваша светлость, мои картины не нравятся вам. Что поделаешь! У каждого свой вкус. Но вот торс античный, ваша светлость. Здесь нет разных вкусов, этому вообще незачем быть прекрасным, ведь оно выкопано. Это выкопал крестьянин из Палестрины, арендатор дал ему за это полфранка, а я должен был дать арендатору десять лир. Дайте мне двадцать, ваша светлость!

— Пришлите мне торс.

Они сели в карету; Бла сухо сказала:

— Ты видишь, этот Перикл гораздо энергичнее и ловчее. Нарисованные или вылепленные тела — ему это безразлично. Лишь бы это были тела. Такой выкопанный торс имеет для него даже ту хорошую сторону, что он не должен приделывать ему голову. Он предпочитает живот.

Герцогиня не ответила; она думала обо всех тех формах, которые взор Паллады, это полное любви зеркало, призывал погрузиться в него, чтобы они могли стать прекрасными. Где нашла она эту просветленную полноту? После обеда Бла была занята; герцогиня отправилась к Проперции. Она въехала в маленькую, почерневшую от пыли множества угольных погребов улицу, выходившую на Корсо; там жила знаменитая женщина. Дом был простой, с тяжелым бронзовым молотком — головой Медузы — у темно-зеленых ворот. В подъезде и во дворе пахло стариной. Хромой слуга провел ее через гулкую переднюю, заставленную сундуками и скамьями, через несколько маленьких комнат и ввел ее в галерею.

Она была узка, необыкновенно высока и покрыта стеклянным сводом. Со всех сторон врывалась синева. Галерея была воздушным мостом из стекла и железа, соединявшим два флигеля старого дома; под ним, спрятанный между стенами, находился маленький, стесненный аркадами садик. Перед окнами к небу молча тянулись черные статуи. Бронза матово блестела, словно влажная пахотная земля; и все они были творениями земли, замкнутые, медлительные, сильные и не знающие смеха; крестьяне со взглядом, устремленным на заступы; охотники и разбойники, с глазами, прикованными к жертве, в которую целились их ружья; моряки и рыбаки с вытянутыми вперед шеями и суженными от света морских далей зрачками. Девушки, покачиваясь, несли навстречу сияющему воздуху грезу своих грудей и бедер. Был там и юноша: звериная шкура упала с его бедер, голова была откинута назад, и поднятые руки вместе с грудью, бедрами, ногами и стремительно, на цыпочках, отрывающимися от земли ступнями, образовали одну трепетную линию: она была невыразимым стремлением к свету. Герцогиня была захвачена, пол ускользнул из-под ее ног. Голубые небесные дали завертелись перед ее глазами. У нее кружилась голова, она закрыла глаза. Ее легкий белый рукав развевался, черные косы поднимались от ветерка, дувшего из открытого окна. Он приносил с собой благоуханье роз, смешанное с горьким запахом лавра.

Хромой слуга доложил:

— Герцогиня Асси.

И вышел.

Она вошла в пустой зал. На белых стенах, на далеком расстоянии друг от друга, висели гипсовые маски. В средине высокого потолка была вставлена стеклянная крыша. Под ней возвышались подмостки, закрытые полотном. Внизу, на плитах пола их окружал венок из каменных обломков. Сбоку стоял мраморный стул, украшенный фигурами, желтый, как воск, и вытершийся. На нем лежала красная подушка; герцогиня села на нее. В комнате не было никого, и она, не отрываясь, смотрела в широкое, без двери, отверстие в стене, на вереницу статуй. Куда влекли они?

— В мою страну? — спросила она. — Туда, куда я так долго посылала свой бесплодный сон?

— Но мне кажется, здесь я уже покоюсь у цели, в стране, о которой я мечтала, и мне нужно только смотреть. Эти полубоги прекраснее и свободнее, чем могло сделать их мое желание, — и здесь нет бессильного желания, нет, здесь рука, давшая форму всем им.

Она обернулась, бледнея: Проперция стояла перед ней.

На ней было полотняное верхнее платье, перехваченное шнуром на широких бедрах. В своих крошечных римских башмаках с высокими каблуками она прошла по красному половику, мощно и бесшумно. Она сказала низким, мягким голосом:

— Вы здесь у себя, герцогиня. Я ухожу. Вы были поглощены своими мыслями и испугались, увидя меня.

— Я вижу вас в первый раз, Проперция. В первый раз чувствую я, что значит творить жизнь вокруг себя...

Герцогиня встала, почти болезненно потрясенная благоговением.

— Поверьте мне, — запинаясь, просила она.

Проперция улыбнулась, тихая и равнодушная. Почитатели сменяли друг друга, каждый старался превзойти предшественника, и все же Проперция знала все, что они могли сказать.

— Герцогиня, я от души благодарю вас.

— Слушайте, Проперция. Сегодня утром в глазах картины я увидела как горит красота, к которой мы стремимся. Здесь, у вас, уже нет стремления. Я стою здесь, маленькая, но полная любви, в царстве силы, созидающей красоту. Мое сердце никогда не билось так; я думаю, после этого момента небо не может больше дать мне ничего.

При этом она не отводила глаз от рядов статуй.

— Эти бронзы, — сказала Проперция, — отлиты в Петербурге.

Она повела гостью по галерее.

— Великий князь Симон заказал их; он умер прежде, чем они были готовы. Эта женщина с покрывалом на лице и с амфорой на голове была его возлюбленной.

Проперция рассказывала машинально. Она знала, что у посетителей только тогда появлялся непритворный интерес к ее творениям, когда с каждым из них был связан какой-нибудь анекдот. Герцогиня молчала. Две минуты спустя Проперция подумала:

«Чего хочет эта важная дама? Конечно, она одна из тех, которые боятся нарушить моду, если не будут дружны со мной. Почему она стоит перед художественным произведением и не судит его? Она не находит руки слишком короткой, мочки ушей слишком толстой и, хотя сама она очень стройна, груди слишком полной. Неужели она исключение и обладает способностью чувствовать? Она пришла не из злостного любопытства, она не хочет убедиться, какой жалкой сделал меня человек, которого я люблю. Она слишком взволнована. Я думаю скорее, что она любит сама. Да, она, должно быть, несчастна, как я: как могла бы иначе важная дама чувствовать художественное произведение?»

Они вернулись в зал.

— Я мешаю вам? Вы хотите работать?

— О, нет. Я жду вечера, и как благодарна я ему, когда он приносит мне прекрасное лицо. Садитесь опять на стул, герцогиня, смотрите вдоль галереи, как прежде, и позвольте мне вылепить ваш профиль из глины.

Она отогнула голову герцогини набок неожиданно легкими руками, и все же герцогиня почувствовала себя под этими руками хрупкой и подвластной им, как ком земли, который должен был получить жизнь сообразно пониманию и сердцу Проперции. Проперция опустилась на деревянную скамейку; она мяла в руках глину и наслаждалась молчанием. — О, если бы мне никогда больше не надо было говорить!

— Какой худой, гордый профиль, и как она бледна и дрожит. Она тоже должна сильно любить.

И Проперция глубоко погрузилась в мрачный огонь своей собственной любви.

Прошло некоторое время. Герцогиня обернулась: Проперция сидела праздно, с каким-то отсутствующим взглядом. На коленях у нее, между безвольно раскрывшимися пальцами, лежала работа.

— Это не я, — вполголоса заметила герцогиня, нагибаясь над ней. — Это изящно и бессильно, это мужчина... как он попал в руки Проперции? Ах...

Она испугалась и тихо докончила:

— Это он.

Проперция вздрогнула. Она увидела, что она сделала и посмотрела на свою работу печально, но без стыда. Герцогиня увидела себя наедине с великой художницей в глухом лесу душ; застенчивость, недоверие и тщеславие остались за его пределами. Она сказала:

— Если бы вы могли забыть его!

— Забыть его! Лучше умереть!

— Вы дорожите своим несчастьем?

— А вы своим?

— Я несчастна не из-за мужчины. Я хочу быть счастливой.

— Но вы, герцогиня, больны от страсти!

— Я тоже люблю. Я люблю вот эти прекрасные создания.

— И только...

Герцогиня посмотрела на нее с ужасом.

— Создания Проперции, — сказала она.

Проперция опустила глаза.

— Вы правы. Я уже так низко пала, что отвечаю «и только», когда мне говорят об искусстве.

Она встала бормоча:

— Вы видите, мне надо успокоиться.

И она скрылась в глубокой оконной нише. Герцогиня отвернулась; опять ее охватило горячее презрение, словно к родственнице, запятнавшей фамильную честь. В галерею врывалась золотисто-красная пыль солнечного заката. Статуи купались в ней, юные, бесстыдные, бесчувственные и навеки непобедимые. Напротив, на теневой стороне, корчилось большое сильное тело; ночь окутывала его своими серыми крыльями. Вдруг в сумраке раздался звук, точно из зловещей бездны: рыдание человеческой груди.

«А между тем этой плачущей, — думала герцогиня, — обязаны жизнью те свободные, прекрасные».

Она нежно приблизилась к Проперции и обвила ее рукой.

— Наши чувства текучи и неверны, как вода. Вернитесь, Проперция, к творениям из камня: камни облагораживают нас.

— Я пробовала. Но только мое жалкое чувство превращалось в камень.

Она, шатаясь, тяжело прошла на середину вала. Она сорвала с подмостков под стеклянной крышей полотняные покровы; в колышущемся сумраке засверкал мраморный рельеф. Высокая женщина сидела на краю постели и срывала плащ с плеч убегающего юноши. Он смотрел на нее через плечо, изящный и пренебрежительный. Герцогиня узнала во второй раз молодого парижанина. Отвергнутая женщина на краю постели была Проперция Понти, обезумевшая, забывшая скромность и благопристойность и искаженная страстью, бившей по ее грубому лицу, точно молотом. Позади себя герцогиня слышала громкое дыхание другой Проперции. На нее смотрело то же бледное мраморное лицо, такое же необузданное, как и то, все во власти природы и ее сил. Герцогиня сказала себе:

— Я вижу ее такою, какая она есть, и этого нельзя изменить.

Она тихо спросила:

— Так это и останется?

— Так и останется, — повторила Проперция.

— Эта жена Потифара чудовищно прекрасна. Как могла бы я желать, чтобы вы сделали что-нибудь другое?

— Что-нибудь другое! Только что, герцогиня, я хотела сделать ваш профиль. Но что вышло?

— Он... Господин де Мортейль... Но должно ли это быть так?

— Если бы вы знали! Я скажу вам что-то. Сырой материал уже всегда содержит образ, счастливый или мучительный. Я не могу ничего изменить в нем, я должна просто вынуть его из камня. А теперь во всех камнях скрывается только один.

Любовно и с тихим ужасом герцогиня спросила:

— И это произведение даже не облегчило вас?

— В первый момент. Я окончила рельеф в один день, тогда мне показалось, что мое неистовство утихло.

— Когда это было?

Проперция ответила с горьким смехом.

— Сегодня.

— А теперь?

Она подняла руки и опустила их.

— А теперь я опять чувствую: я могла бы наполнить мир чудовищными символами моей любви, и, когда он был бы полон, мне казалось бы, что я еще ничего не сделала.

Она уныло отошла к окну и прислонилась лбом к стеклу. Прорезанные ущельями горы стен и крыш, остроконечные, темные, извилистые, смутно тянулись во мраке высоко над ней. Внезапно наступила полная темнота: на мраморном рельефе замерла горячая жизнь, он мягко погрузился в тень. Герцогиня сказала словно самой себе:

— Я хотела бы увести Проперцию на более чистый воздух; она живет в духоте. Я хотела бы построить дом, на пороге которого все страсти расплывались бы в ничто, как этот мрамор, — все страсти, которые не принадлежат искусству.

Через некоторое время она попросила:

— Обещайте придти помочь мне.

Неожиданно стало светло: хромой слуга ходил по залу и зажигал газовые рожки.

Тотчас же обе женщины вышли из уединенного леса душ: они вопросительно посмотрели друг на друга.

— Неужели мы пережили это вместе?

Их руки коснулись на прощанье, и каждая почувствовала, как изумлена и обрадована другая:

— Значит, мы подруги?

Герцогиня прошла через галерею.

— Дом, достаточно блестящий и высокий для полной жизни, как ваша, — молча и горячо сказала она статуям.

\* \* \*

Она повторяла себе это вечером при возвращении на дачу. Рядом с ней молчала, с горечью в сердце, Бла. Она говорила себе.

— Глаза Виоланты блестят, она горит новой жизнью. Я открыла ей двери, а сама должна остаться за порогом. Да, теперь остается погибнуть одной.

— Как я труслива! — с горьким стыдом крикнула она себе. — Почему я бегу уже второй раз в Кастель-Гандольфо? Потому что я боюсь Орфео. Потому что я уже вижу рядом с ним смерть, направляющую его руку. Он ненавидит меня, бедный возлюбленный, потому что я слишком любила его; он убьет меня. Но не должна ли я отдаться в его руки, даже если они несут смерть? Да, я умру благодарная.

Они проезжали городок Альбано. Герцогиня сказала:

— У меня к тебе просьба, Биче. Сообщи мне как-нибудь о положении нашей кассы. Я хотела бы знать, чем я могу располагать.

Бла ответила тихо и быстро:

— Я завтра же привезу бумагу из Рима. Нет, еще сегодня вечером я скажу тебе самое главное. Самое главное... — еще раз с кроткой и счастливой улыбкой пообещала она. Она размышляла:

«Только это еще удерживает меня. Потом я смогу принадлежать ему и нашей судьбе».

Она чувствовала потребность быть доброй и, хотя ее голова была уже на плахе, утешать других.

— Сегодня после обеда я говорила с Делла Пергола, — сказала она. — Он очень подавлен твоей стойкостью. Ты можешь быть довольна, дорогая Виоланта. Он принадлежит тебе, не думай больше об этом, не мучь себя.

Герцогиня улыбнулась.

— Я мучу себя из-за Делла Пергола? О, Биче, так ты еще помнишь, что я была несчастна и притом из-за него? Я забыла это. Я все время думаю о доме, который хочу построить. Да, я хочу воздвигнуть его в Венеции, потому что он должен отражаться со своими статуями в тихой, темной воде.

Они приехали.

«Я потеряла ее, — думала Бла. — Быть может, это наша последняя встреча».

— Одну минуту, — шепнула она, выходя из экипажа.

Она хотела сказать:

— Я относилась к тебе завистливо и враждебно, потому что ты будешь жить, а я осуждена. Я была труслива, и ко всему этому я обокрала тебя. И все-таки, Виоланта, верь моей честности!

Она начала и запнулась.

— Уже? — пробормотала она. — Он здесь. Ты видишь его?

В глубине сада прохаживался, вихляя бедрами, господин в белом фланелевом костюме. Сделав пять-шесть шагов, он останавливался и топал ногой. Его тросточка со свистом прорезывала воздух, сбивая справа и слева цветы на клумбах: красные чашечки гелиоса носились вокруг его головы. Статуя Флоры, заграждавшая дорожку, получила такой толчок от его элегантного плеча, что зашаталась на своей подставке. Увидев герцогиню, Пизелли подбежал, грациозно поклонился и самодовольно и милостиво улыбнулся, выпятив свою выпуклую, туго обтянутую грудь.

— Вот и я, — повторял он. — Герцогиня, я позвонил себе эту вольность. Зачем ваша светлость увезли от меня моего дорогого друга? Я, бедный, совсем осиротел.

Герцогиня оставила их одних. Пизелли иронически расшаркался.

— Да, да, дорогой друг! Сюда, в тихую деревню, приходится, значит, отправляться, чтобы поймать вас. Птичка улетела, и едва можно было узнать, куда. Я еще вовремя поспел, она еще не проболталась? Но теперь прогулке конец.

Она опустила голову. Вдруг она почувствовала на своей руке его судорожно сжатый кулак.

Она видела, как выступила жила на его лбу, и каким диким стал его взгляд. Его кадык, вздувшийся вместе со всеми шейными мускулами, показался ей ужасным и чарующим. Он свистящим шепотом приказал:

— Идем! Мой экипаж ждет. Ты поедешь домой, будешь слушаться, работать и молчать, негодяйка!

Из дому вышел лакей: герцогиня просила пожаловать к столу. Они последовали за ним.

— Это тебе не поможет, — шептал он сзади у ее шеи. — Мы поедем сегодня же ночью. То, чего ты заслуживаешь, ты получишь.

Она беззвучно молила:

— Завтра утром, прошу тебя!

Он пожал плечами.

После обеда они молчаливо сидели за чаем. Мягкая ночь словно приглашала медленно и глубоко дышать и так же жить — тихой, тонкой, доброй жизнью. Герцогиня мечтала о Венеции и о дворце, обвеянном такими ночами. Пизелли тщетно показывал ей свое тело во всех поворотах и положениях. Бла непринужденно повторяла:

— Серьезно, Виоланта, мы должны сейчас ехать.

— Но почему?

— Я скажу тебе... Орфео приехал по поручению главного редактора Трибуны... Два редактора заболели, несколько в отпуску... Я нужна для важного дела...

— Ты прощаешь, Виоланта? — уезжая спросила она, бросая на нее необыкновенно глубокий взгляд.

Парочка молча ехала под дубами; с их верхушек сочился лунный свет. Он погружался, словно серебристая девичья душа, в мягко прислушивающееся озеро. Большие звезды пронизывали мрак своим сиянием, большие плоды пропитывали его ароматом. Пизелли чувствовал себя тяжко оскорбленным невниманием герцогини.

«Прежде, — думал он, — она просила меня прислониться к камину и дать смотреть на себя. А теперь, когда я так изящен и любим всеми женщинами, я уже не кажусь ей достаточно прекрасным. Ха-ха, я рад, что ее касса пуста и что вот эта боится. Какая из этих двух женщин мне собственно ненавистнее?»

Альбано лежал за ними, кучер был пьян; Пизелли убедился, что он задремал. Он пыхтел, беспомощный от бешенства.

— Эй, ты! — вдруг крикнул он, и его элегантное плечо толкнуло Бла, как раньше Флору. Она медленно отвернулась; он крикнул: — Ты думаешь, что это уже все?

— Нет, этого я не думаю.

Она покорно глядела на мрамор его лица, несокрушимо благородный даже в ярости. Он ломал ей кисти рук.

— Ты хотела сказать это, сука! Если бы мне не повезло и я не предупредил тебя, ты предала бы меня.

— Никогда! Никогда! — задыхалась она, и ей стало холодно при мысли, что она все-таки чуть не сделала этого.

— Заставить простить себе пустую кассу, разыграть пай-девочку, немножко поплакать, а меня тихонько стряхнуть, отречься от меня: этого хотела ты. Дура, ты думала, что можешь провести меня! Что, поймал я тебя?

Пытка обессиливала ее, она опять попробовала отвернуться. Он тотчас же выпустил ее руки и схватил ее сзади за шею. Он давил долго и с силой, совершенно вне себя от ее покорности и молчания. Вдруг лунный свет скользнул по ее профилю: он был совершенно синий Он разжал руки; она упала в угол, почти без сознания. «Фуй, предательница!» — крикнул он. Он набрал слюны и плюнул своей возлюбленной в лоб. После этого он почувствовал приятное удовлетворение и закурил папиросу. Наконец, она заговорила едва слышно, еще с трудом дыша:

— Почему ты не покончишь со мной! Будь милосерд!

И так как он насмешливо молчал, она прибавила:

— Разве ты не видишь, что я люблю тебя?

Он передразнил ее прерывающийся шепот:

— Ведь я принадлежу тебе! Разве ты не чувствовала только что моих объятий? Будь счастлива, мое сокровище!

— Ты принадлежишь мне! — сказала она явственнее. — Я не была бы даже счастлива этим. Я должна принадлежать тебе: я жажду погибнуть от тебя, — понимаешь ли ты это? Я хотела бы принести тебе себя в жертву бесповоротно, так, чтобы от меня ничего не осталось. Я с отчанием ищу, что у меня еще есть, чтобы дать это тебе, чтобы еще раз ощутить сладострастие жертвы. Но уже все твое. Мою душу ты истрепал совершенно, так что для второй жизни от нее уже ничего не осталось. Убей теперь и остаток моего тела! Моя жизнь была твоей, возьми теперь и мою смерть!

Он с усмешкой пожал плечами. Бла плакала, глядя широко открытыми глазами на белое от луны поле. Над ним мчались облака, точно сонм теней. Камни старой дороги дребезжали как будто от множества шагов; а у ее краев перед черными массами разрушенных могил возвышались неподвижные фронтисписы с масками своих обитателей, застывшими и бесчувственными. Бла не видела ни одной из них, она не осмеливалась пошевелиться. Она чувствовала, как отделяется слюна от ее лба; через мгновение она достигла глаза. Она страшилась этой ночи и ее неумолимости и стыдилась ее.

\* \* \*

В октябре герцогиня вернулась в свою виллу на Монте-Челио. Были душные, дождливые дни; она задыхалась в комнатках, где затхлые стены и темная тихая мебель пахли ладаном. Виноградник замыкала, как всегда, красная завеса, но она не чувствовала больше прелести этого уголка. Она вернулась, с ветром и солнцем утра в глазах и волосах, в спальню, еще полную снов прошедшей ночи. Ей хотелось распахнуть все окна.

Явился Павиц, только что выкупавшийся в воздухе погребка на Трастевере, где его приверженцы окружали его романтикой, и рассказал о новом подъеме духа среди далматских патриотов. Приближался решительный момент. Монсиньор Тамбурини подтвердил это. Низшее духовенство на родине герцогини исполнило свой долг; народ стал фанатичен, как никогда. Могущественные монашеские ордена, соблазненные обещаниями от имени герцогини Асси, поддерживали везде пламя. Предстояла невиданная революция: монашеская революция. Династия Кобургов погибла, и барон Рущук, которого она в своем безвыходном положении сделала министром финансов, предлагал свои услуги герцогине. Тамбурини показал ей шифрованные депеши, а Сан-Бакко, поднявший голову еще выше, чем когда-либо со времени своего победоносного похода в Болгарию, комментировал их жестами фехтовальщика и словами из сверкающей стали. Она любила его за его осанку, полную силы и напряжения, за туго натянутую линию его выставленной вперед правой ноги, за его руки, нервно скрещенные на груди, за гордый трепет рыжей бородки, за сверкание бирюзовых глаз и вихры белоснежных волос над узким, высоким лбом. Но она не знала, что ответить ему. Она написала художнику Якобусу Гальму. Она просила его прислать копию Паллады Боттичелли в отель Виндзор, где она будет жить некоторое время. Она назначила ему час, когда хотела бы поговорить с ним об известном предложении.

Двадцать второго воздух над старой Кампаньей был прозрачен, редок и весь пронизан золотом. Дул северный ветер. У могильного памятника Цецилии Метеллы сошлись охотники на лисиц. Восемь или десять молодых людей, упираясь одной рукой в талию, охваченную красным фраком, или в бедро, туго обтянутое белой кожей, гарцевали на своих лошадях перед герцогиней Асси. Она держалась в тени средневековой церкви, развалины которой жидко и призрачно выделялись своими зубцами рядом с круглой и крепкой, застрахованной от времени, могилой язычницы.

Со стороны города по выбитой мостовой большой дороги ехал рысью кто-то, — одинокий, толстый охотник, похожий на Силена, красный и трясущийся! Он подъехал.

— Вы здесь, доктор? — спросила герцогиня.

Павиц хотел поклониться, но не мог выпустить поводьев из рук. Шляпа съехала ему на затылок; его лоб теперь совершенно облысел. Он сообщил без всякого перехода, одержимый своей идеей:

— Сейчас здесь будет Делла Пергола. Я обогнал его.

— Чтобы сказать мне это, вы отважились сесть на лошадь?

— Ваша светлость, что такое лошадь для такого человека, как я?

Он собрался с духом.

— Когда-то я отважился подняться на хребет волн народной бури для вас, герцогиня. Потом на судно, опять для вас, и это стоило мне моего ребенка, которого я очень любил. Наконец, я пошел в изгнание и душевную пустыню — для вас. И вы удивляетесь, видя меня на спине жалкой лошади? Ведь и это для вас...

Он закончил взволнованно, но безнадежно. Она сказала с явным благоволением:

— Послушайте, а ведь у вас есть мужество!

Она удивилась. Фигура Павица предстала перед ней, точно из глубины времен. Он принадлежал к периоду жизни, который она закончила, и сегодня, в светлое ветреное утро ее юного дня, не воскрешал в ней никаких знакомых ощущений. Она вспомнила, что презирала его. Но та страсть, которая заставляла ее презирать его, погасла; Павиц сам умер вместе с ней, — и призрак мог приблизиться к ней только потому, что она случайно стояла в тени развалин готической церкви.

— Мужество? — повторил трибун. — Я должен все-таки предостеречь вас, герцогиня, от этого Делла Пергола...

— Но ведь это похоже на безумие, мой милый. Вы предостерегаете меня каждый раз, как меня видите. Что с вами?

Он чуть не крикнул: — Я схожу с ума от ревности! — Это возбуждающее утро и нервная, похотливая пляска лошади вызвали наружу все то, что он уже много недель осторожно и тяжело носил в себе: весь котел страстей взорвался. Страх перед запоздалым преемником в милостях герцогини помолодил Павица. Он еще раз обезумел от стремления действовать, как в пору своего величия, когда хотел сделать свободным целый народ, потому что, в бытность его студентом в Падуе, на него, как на угнетенного, смотрели через плечо.

— Делла Пергола не будет обладать ею, — ежедневно уверял он себя. — Никогда!

Чтобы помешать герцогине сделать журналиста счастливым, Павиц чувствовал себя готовым на все, на беззаконие и на сверхчеловеческое. Он преследовал Делла Пергола, который избегал его. При каждом выходе журналист встречал на каком-нибудь углу жирную, запыленную фигуру, которая кралась за ним, терпеливая и неизбежная. Она шептала ему таинственные предостережения, знала вещи, которых не мог знать никто, отказывалась дать объяснения и исчезала, оставляя в своей жертве предчувствия, полные неясного ужаса. У Павица были шпионы в доме герцогини, он знал каждый ее шаг и каждое слово, которым она обменивалась с Делла Пергола. Сегодня грозил наступить решительный момент: Павиц знал это и стал между ними. Он прибег к целому ряду хитростей, чтобы добиться от принца Маффа, своего бывшего товарища по клубу, приглашения на охоту. Ему не давала покоя одна мысль:

— Она видела меня трусом, один единственный раз, тогда, когда закололи крестьянина. С тех пор я был мертв и уничтожен. Но теперь... кто знает... быть может, я воскресну.

Он сказал, трепеща от тихой решимости:

— Этот Делла Пергола не тот, кем вы его считаете. Он осрамит вас, герцогиня, он унизит ваше дело, и, в конце концов, предаст и его, и вас.

— Объясните мне это.

— Вы позволяете мне говорить открыто — мне, старому, честному слуге? Благодарю вас, ваша светлость. Так знайте же, что этот человек давно рассказал мне все, что решено между вами. Он отвратительно хвастлив; он жаждет женщины только для того, чтобы заговорить с ней на «ты» перед своими ста тысячью читателей. Если бы он когда-либо обладал интимными воспоминаниями о блаженстве, как мои воспоминания...

Павиц сильно испугался того, что вырвалось у него. Герцогиня, казалось, совершенно не поняла его. Он закончил с негодованием:

— В кафе на Корсо он хвастал бы этим.

— Ну, и отлично, — весело сказала она. Она тронула лошадь и обогнула церковную стену. Павиц последовал за ней. — Он осрамит меня. И если бы я сделала это... ради дела... Вы понимаете, доктор, конечно, только ради дела.

— Тогда я скажу вашей светлости, что он для вашего дела никогда не сделает ничего. Ваша милость не подкупит его: Делла Пергола неподкупен.

— Странно, я тоже сказала ему это. Он решительно отрицал. Я почти готова думать, что для меня он сделает исключение.

— Не думайте этого, бога ради...

Ее лошадь шла все быстрее. Павиц хрипел. Измученный напряжением этого момента, он лежал лицом на шее своего гнедого; его седая борода распласталась по гриве, и он не отрывал покрасневших, испуганных глаз от женщины, которая не видела его и играла словами. Павиц играл своей жизнью.

— Не думайте этого! Он не может этого, даже если бы хотел. Он лучше совершит самую худшую низость, чем даст подкупить себя. Это у него болезненное...

Вдруг обе лошади остановились и насторожили уши. Павиц еще успел сказать:

— И если бы он все-таки хотел служить вам, это не принесло бы вам никакой пользы. Подкупленный Дел-ла Пергола тотчас же потеряет весь свой талант...

Он остановился. Ревность, делавшая его смелым, изощряла его чутье. Он проникал в глубь души, изумлялся этому сам.

У памятника выпустили свору собак. Сначала это была плотная, визжащая масса. Но тотчас же, двумя-тремя прыжками, от нее оторвались куски, и самые сильные из собак, белые с коричневыми пятнами, бросились вперед по короткой, жесткой траве, вытянувшись и катаясь на животе, визжа от жажды забавы и убийства. Впереди скакал, скрючившись на шее своей рыжей лошади, принц Маффа. Его красное плечо сверкало, солнце блестело на золоте его рога. Он поднес его ко рту и затрубил. Все лошади разом бросились вперед, встрепенувшиеся, дрожащие, жадные. Конь герцогини громко заржал. Она откинулась на нем далеко назад; ее руки и поводья напряглись двумя длинными тугими линиями. Верхняя часть ее тела высоко подскакивала, точно гибкая трость, на крупе животного. Ее лошадь была белая и рассекала воздух своим золотистым хвостом.

Павиц пыхтел и подпрыгивал, но не отставал от герцогини: ее вуаль развевалась у его ушей. Его невольное покачивание производило такое впечатление, как будто чествуемый трибун низко кланялся направо и налево народным массам, которые в его представлении наполняли пространства пустой Кампаньи. На каждом коме земли его подбрасывало кверху, вслед за этим он резко шлепался на седло. Он был бледен, но только от волнения, не от страха. Он заранее примерился со всевозможными случайностями. Величайшим несчастьем, которого он боялся, было не упасть с лошади, а пропустить появление Делла Пергола. И поэтому он не падал.

— Вы видите? — пронзительно прошептал он. — Ваша светлость, вы видите?

Делла Пергола легко, не торопясь, ехал по полю им наперерез. Он направил свою лошадь к лошади герцогини, поклонился и сказал, спокойно дыша и без следов возбуждения на своем холодном лице:

— Трубим к нападению, ваша светлость? Выступаем в поход с мятежными монахами? Момент благоприятен.

— Как никогда. Я даже уезжаю.

— В Далмацию! Я еду с вами! Я бросаю все.

— Ваши станки? И мои статьи?

— Вы правы. Я потерял способность думать. У меня остались только желания. Что вы хотите? Три месяца бессильной страсти! В такую жару! На мертвой мостовой нашего лета! Я не могу больше.

— Вы выдаете себя.

Они посмотрели друг на друга в упор. Затем опять стали бросать друг другу, в такт галопирующих копыт, свои короткие фразы. За ними пыхтел Павиц.

— Вы сдаетесь. Вы думаете, я не воспользуюсь этим?

— Я ничего не имею против. Я не могу больше. Я не умер. Поэтому я хочу теперь же своей награды. Потому что я выдержал. Завтра утром появится ваша первая статья. И лишь завтра вечером хочу я быть счастливым. Я уступаю.

— Я тоже. Еще больше, чем вы. Я совершенно отказываюсь от ваших статей. У меня пропала охота.

— И к ...?

— Ко всему.

Она ударила поводьями по шее лошади, откинулась далеко назад и с криком радости, освобожденная и полная нового стремления, помчалась вперед, прорезывая голубой воздух.

— За мной, кто любит меня!

Она пронеслась над широким, наполненным водой рвом. Копыта дрогнули, опустились и врезались в землю по ту сторону рва. Делла Пергола смотрел ей вслед, испуганный до оцепенения ее словами. Он хотел остановить лошадь. В последний момент его охватил страх перед презрением к самому себе, и он щелкнул хлыстом. Рва он почти не заметил.

Вдруг он очутился в мелкой луже. Он лежал, растянувшись, головой на откосе, и видел, как высоко над ним, в синеве, сверкавшей стеклянным блеском, как синее небо на разрисованных стеклах, носилась ласточка.

Павиц видел только, что герцогиня грозила исчезнуть по ту сторону рва. Он прохрипел: «Одну минуту!», пришпорил лошадь и закрыл глаза. Он был очень удивлен, когда очутился на другой стороне, рядом со своей госпожей и без журналиста.

Делла Пергола поднялся, стиснув зубы; он несколько раз тихо повторил:

— Только спокойнее, бога ради, спокойнее. Мы увидим.

Он вскарабкался на край рва, снял свой красный сюртук и попробовал очистить его от грязи. Вдруг он поднял глаза.

— Вот что называется травлей лисиц! Лисицей был я, дурак! Она охотилась за мной, а ее жирный любовник помогал ей в этом. Да, это так...

Далеко позади двигался ее уменьшенный силуэт и трясущаяся фигура трибуна. Рядом бежала лошадь без всадника.

— Лошадь они поймают, и сегодня вечером обо мне и моих подвигах будет врать весь город.

— Но будут говорить и кое о чем другом, об этом я позабочусь!

Он двинулся в путь. Опустив голову и надвинув шляпу на глаза, размахивая сжатыми кулаками, в красном фраке и белых панталонах, весь выпачканный, он торопливо шел по празднично-прекрасной равнине, полный ненависти и жажды мести.

— Представим себе ясно, что она такое! Кокетка ли она, намеренно ли сводила она меня с ума? О, нет, она очень мало думает обо мне. Женщина с ее прозрачным цветом лица; я ясно вижу это, ее душа слишком высока: под жалкими, низменными триумфальными воротами кокетства она не могла бы пройти.

Боже! Ужасно то, что я все еще принужден думать это! Я не хочу больше! Но ей чертовски безразлично, теряешь ли из-за нее голову. Она нечувствительна, настолько нечувствительна, что от этого становится, действительно злой. Павиц сказал тогда в кафе, когда хвастал ею: «Она зла, эта аристократка!» Он был прав, этот отставной тенор! Ах! Эта аристократка! Это мой рок, что я, бедный сноб, встретил истинную аристократку. Один единственный раз, и этого достаточно.

— Но теперь я освобожусь от нее! Ты не хочешь сойти с твоего Олимпа, злая Юнона? Так я стащу тебя!

Он вернулся через ворота Сан Джиованни в город и взял экипаж. Он положил ногу на ногу и насвистывал сквозь зубы, в сознании своей власти.

— Надменная дама, воображающая, что царит над человеческим обществом, холодная, бесстрастная и незнающая ответственности за участь низших, приносящих себя в жертву ей: чему я научу ее? Во-первых, что она добродушное, довольно обыкновенное создание. Во-вторых, что ежедневные партнеры ее пошлых любовных приключений могут по желанию дать подробное описание известного дивана, с известной герцогской короной, которую они, в своем характерном положении, могли разглядеть снизу. Внутри позолота немного облупилась.

Дорогой статья оформилась в его голове. Она была обдумана и отделана во всех подробностях, когда Дел-ла Пергола вышел на улице Кампо Марцо, у редакции своей газеты. В тот же вечер она появилась.

\* \* \*

Было часов десять. Герцогиня находилась в своей спальне в отеле Виндзор. Портьера в салон была наполовину откинута. Это была комната с высоким позолоченным потолком и широкими окнами. В люстре горели все газовые рожки. На шелковых стульях лежало несколько любимых книг в белых переплетах. Копия Паллады висела на задней стене.

Внизу, на широкой, новой, величественной Виа Национале, еще совсем вдали, она услышала крик, который был ей знаком: он повторялся каждый вечер. Новейшая скандальная статья Intransigeante совершала свой путь по городу. Она открыла окно и разобрала: «Смерть герцогини Асси».

Банда приближалась — сомнительные парни, одни в лохмотьях, другие — грубо расфранченные. Они часами слонялись перед типографией грозной газеты, подшучивая и угрожая друг другу. При появлении свежей газеты происходила короткая торопливая свалка; счастливцы, захватившие первые пачки еще сырой бумаги, вырывались из черной кучи и с гиканьем мчались на доходные улицы, ночью горевшие жизнью. Там, где они проходили, улица покрывалась большими, белыми листами, которые нетерпеливые руки подносили к свету фонарей.

Впереди всех бежал человек с деревяшкой. У него были высокие плечи, его острые кости пробуравливали заплаты. Грудь у него была впалая, а кулаки — жесткие и узловатые. Его серое лицо, почти без очертаний, казалось стертым нищетой, с неясными тенями на месте глаз. Неистово устремляясь вперед грудью и резко стуча своей деревянной ногой по мостовой, он широко открывал рот, и из него, точно из черной пещеры, с хрипом и свистом, кипя яростью и полные ненависти, напрягавшей все силы, чтобы насладиться своим счастьем, исходили слова, всюду жадно приветствуемые:

— Чрезвычайно важная статья Паоло Делла Пергола! Падение важной дамы! Обличение и моральная смерть герцогини Асси!

— Что это означает? — спросила себя герцогиня.

Она еще не видела во всем этом ничего, кроме искаженного судорогой ненависти лица крикуна. Гуляющие окружили его и вырывали у него из рук газету. Он поспешно собрал медные монеты, пробился сквозь толпу и поспешил дальше, стуча костылем, визгливо крича и хромая. И было непонятно, что смертельно больной калека снова и снова обгонял своих товарищей. Ненависть гнала его вперед. Герцогиня видела это: его оживляла только ненависть, ненависть наполняла его всего. Она могла каждое мгновение выйти из его членов, как газ: тогда его тело сразу съежилось бы и упало.

Это существо, которого она никогда не видела и которое едва ли знало ее, показалось ей самым ярким воплощением той неожиданной ненависти, которая уже не раз в ее жизни вставала перед ней. Старик на берегу бухты в Заре, плясавший от злости, потому что она в бурю взялась за весла; два гиганта-морлака, размахивавшие перед головами ее лошадей своими топорами после ее неудачной речи к толпе, вся эта толпа, которая, еще не успев переварить полученных от нее даровых обедов, напала на нее с честным, нравственным возмущением и дала ей бранное прозвище «аристократки» — все это соединилось в лице этого разносчика газет. Его вид показался ей печальным и немного противным.

Она закрыла окно и спустила плотные гардины. Затем она позвонила: она хотела прочесть Intransigeante. В то же самое мгновение явился грум со сложенной газетой на подносе. Очевидно, ждали ее знака. Она остановилась под люстрой и пробежала глазами столбцы; статья о ней красовалась на первом месте. Она еще не кончила ее, как в салоне послышались быстрые, твердые шаги, которые она любила: на пороге стоял Сан-Бакко. Он сказал:

— Герцогиня, вы звали меня. Вот я.

— Я рада вам, милый маркиз, — ответила она. — Но я не звала вас.

— Как, герцогиня, вы не звали меня, тогда, перед моим отъездом в Болгарию, когда вы позволили мне... тем не менее... всегда принадлежать вам? Вы не знали еще в то время, когда и для чего вам понадобится рыцарь и честный человек. Сегодня вы это знаете.

И он ударил рукой по газете, которую принес с собой.

— Вы придаете этому слишком большое значение.

Она тоже дотронулась до развернутой газеты.

— Это еще не тот момент, о котором я говорила. Если бы это событие наступило раньше, оно ужаснуло бы меня. Но долгое ожидание утомило меня и сделало равнодушной. Внутренне я давно отказалась от всего: простите, что я не сказала вам этого раньше. Я оставляю Рим и ухожу от всего.

Он вскипел.

— Вы можете это сделать!

Он овладел собой, сложил руки и повторил:

— Вы можете это сделать! Герцогиня, вы можете бросить дело, которое висит на волоске. Народ, который поклоняется вам и который на этих днях будет бороться за свободу во имя вас.

Она остановила его.

— Тише, тише, милый друг, — я знаю все, что вы можете сказать. Я совершенно не верю в победу этой так называемой монашеской революции. Но, не говоря об этом, этот народ будет искренно рад, если мы оставим его в покое с нашей свободой. Вы помните время арендаторских беспорядков? Как они ненавидели меня за то, что я хотела ввести просвещение, справедливость, благосостояние! Но я любила их мечтательною любовью, потому что видела в них близких к животным полубогов, статуи, уцелевшие от героических времен, строгие и бронзовые среди больших мирных животных, подле груд чеснока и олив, меж гигантских, пузатых глиняных кувшинов. На всей этой красоте я хотела воздвигнуть царство свободы. Теперь я отказываюсь и иду своим путем с одними статуями.

Она говорила все тише и при этом думала: «Что я говорю ему?» Она видела, как ясно его лицо, несмотря на разочарование, как оно сияет душевной чистотой, и чувствовала его непобедимость. Она невольно сделала плечом движение к стене; казалось, она ищет защиты у Паллады. Он хотел ответить ей; она попросила:

— Еще одно слово, чтобы вы поняли меня. Подумайте, сколько усилий и сколько денег потребовалось, чтобы вызвать у народа немножко жажды свободы. Оставим его, наконец, в покое, он не желает ничего лучшего. Мы оба, как и все — действительные поклонники свободы, в тягость людям. Мы посрамляем человечество и пожинаем вражду. Нам уступают, чтобы избавиться от нас, и такие события, рожденные досадой, страхом и злобой, мы называем борьбой за свободу.

Она замолчала. «У меня плохая роль, — думала она. — Он может смирить меня именем идеала, которому я поклонялась». И она неуверенно улыбнулась.

Сан-Бакко заговорил, наконец, без гнева, с той далекой от практической мудрости высоты, на которой протекала его жизнь.

— Вы ставите крест над всей моей жизнью.

— Нет! Потому что она прекрасна.

— Но вы не верите в ее цель...

Она протянула ему руку.

— Я не могу иначе.

Он взял ее руку и поцеловал.

— И, тем не менее, я остаюсь вашим, — сказал он.

Вдруг он ударил себя по лбу.

— Но мы разговариваем! — воскликнул он. — Мы разъясняем друг другу свои мировоззрения, с гнусной газетой в руках, в которой какой-то негодяй осмеливается оскорблять вас, герцогиня! Вас! Вас!

Он взволновался, его бородка тряслась. Он забегал по комнате, закрывая себе уши и повторяя:

— Вас! Вас!

И останавливаясь:

— Ведь это невозможно! Мне кажется, я только теперь вижу, как это невероятно!

Воротник давил его; он пытался расширить его двумя пальцами. У него не хватало слов, наконец, он развернул Intransigeante и прочитал вслух статью, крича, запинаясь и захлебываясь.

— Добродушная женщина, строящая невинные козни для маленького переворота в своей совершенно неинтересной стране...

Сан-Бакко прервал себя и, возмущенный до слез, стал метать вокруг смелые, обвиняющие взгляды, как в парламенте, когда требовал к барьеру партии сытых. Его привыкший к команде голос оглушительно загремел:

— Да, это так! Мелочная зависть разъедает совершенно этих писак. Один из нас хочет быть гордым и сильным и бороться со злом: что изобретает писака, чтобы принизить стремящегося к высокому? Он называет его добродушным. Не очень хитрым, но зато добродушным. Как это естественно для него! Выслушаем этого умника до конца, тогда будет видно, за кем слово!

Он стал читать дальше, но вдруг запнулся. Герцогиня увидела, что он сильно покраснел, и руки его дрожат. Он дошел до строк о диване и герцогской короне. Буквы слились и стали неразборчивы, но Сан-Бакко не смел поднять от них глаз. Герцогиня тоже молчала: она отвернулась.

— Ему стыдно, — сказала она себе. — Ему стыдно за человека, который мог это написать или даже подумать. А когда я вспомню о времени, которое больше не существует для меня, то... он не прав, что стыдится.

— Положите, наконец, газету, — приказала она.

Он швырнул ее в угол. Затем скрыл смущение под вспышкой ярости.

— А! А! Вот это проявление духа! Это его честь! Это герои духа, которым нынче принадлежит власть. Больше власти, чем славному гению дела! Вот вам один из тех умников, которые насмешливо улыбаются, когда честный человек говорит о действии. Честь писак и говорунов — вы видите, что только ни уживается с ней. Но есть положения, — прерывающимся голосом крикнул он, — положения, в которых имеет значение только дух, сверкающий на острие шпаги!

Она потребовала:

— Не убивайте его! Я не хочу этого.

— Но я хочу это! — воскликнул он, весь выпрямившись и дрожа от волнения. И он исчез.

В продолжение одной секунды она колебалась.

— Сказать ли ему? Сказать ли, что он опять поступает, как Дон-Кихот, и что этот несчастный диван не фантазия! Тогда я причиню ему гораздо более мучительное страдание, чем шпага противника, которая вонзится ему между ребер.

И она отступила назад.

За дверью послышался шум раздраженных голосов. Сан-Бакко показался еще раз.

— Ваша передняя уже полна репортеров. Вы видите, что я прав, желая быстро покончить со всем этим. Пока я собственноручно выпроводил за дверь этих любопытных нахалов.

— Благодарю, — сказала она, кивая ему головой.

\* \* \*

Она велела погасить люстру и осталась в полумраке, при свете двух свечей.

«Что хочет Делла Пергола? — размышляла она. — Зачем он дает себе труд быть моим врагом? Ведь настолько легче избегать друг друга и еще легче остаться добрыми друзьями. Значит, у него нет самообладания, и он неспособен благоразумно отказаться, а хочет вредить мне. Но чем? Смешным происшествием из жизни другой, бывшей знакомой. Неужели он, в самом деле, думает, что глубоко заденет меня этим? Мне кажется, я ставила его слишком высоко. Или он хочет создать на моем пути внешние затруднения? Для этого он должен был бы перенестись в будущее, этот бедный мыслитель, а не застрять у стоящего уже столько лет пустым дивана. И он должен был бы столкнуть кой-какие статуи с их пьедесталов в ленивые волны, в которых они, созерцают свои темные, сверкающие тела. Статуи!»...

Она замечталась.

«Они никогда не оскорбят меня похотью и низостью. Они не будут требовать от меня ничего, кроме того, чтобы я их любила, а сами дадут мне все, что у них есть. Они не обидят меня. Как ни тяжелы их бронзовые руки, я никогда не почувствую их. Я буду жить свободная и чуждая всему, вести за рог кентавра»...

Вдруг ей показалось, что портьера зашуршала. Она почувствовала, что кто-то ворвался в глубокий мрак. К стене жалось широкое, темное тело.

— Кто там? — спросила она.

Глухой голос ответил:

— Я, — и откашлялся: — Павиц.

— Что вам надо?

Павиц выступил из тени. Он приободрился и сказал с силой:

— Свершилось, герцогиня.

— Что?

— Преступник казнен.

— Он...?

— Мертв...

Она вздрогнула. «Мертв? И меня радует это? — спросила она себя. — Я не ненавидела его, пока он был жив. Но теперь, когда его нет, мне легко. Это правда. Глаза врага, прикованные к моей жизни, со временем нашли бы в ней грязные пятна. Лучше, что они закрылись. Зложелательство других ежедневно напоминает нам, что мы не одни и не совсем свободны. Оно непрерывно просачивается в нашу жизнь и отравляет ее. Лучше, что его убрали прочь».

— Так это свершилось? Уже? Но Сан-Бакко оставил меня лишь час тому назад.

— Это свершилось уже два часа тому назад, — глухо сказал Павиц.

— Два...

На этот раз она сильно испугалась.

Враг, напавший на нее сегодня вечером, не был живым? Он с ненавистью говорил о ней — и был мертв? Она говорила со своим другом о нем и о его нападках. Сан-Бакко хотел отомстить за нее и все это относилось к мертвецу.

— Но Сан-Бакко... — повторила она, теряясь от ужаса.

— Не Сан-Бакко... — объявил Павиц. — Я сам...

Она встала. В эту ночь свершалось слишком много странного. Она дрожала. Вдруг она сняла со свечи экран. Свет упал на лицо Павица; оно было распухшее, серое, с воспаленными веками, со спутанными седыми волосами.

«Этого человека я презирала и забыла, — думала она, — потому что он не дал заколоть себя вместо крестьянина. Но для меня — для меня рискнуть своей жизнью, на это он, значит, все-таки был способен? Все это время он был способен на это»?

Она быстро подошла к Павицу и протянула ему руку.

— Он пал в поединке с вами, Павиц?

Павиц нерешительно протянул свою руку. Его искусственная твердость поколебалась.

— Не в поединке, — пролепетал он. И после боязливой паузы, тяжело дыша: — Он убит.

Она отдернула руку, прежде чем он успел коснуться ее...

— Вы убили его.

В ответ послышалось совсем слабо:

— Поручил... убить.

Его голова упала на грудь. Герцогиня разразилась презрительным смехом. Он вздрогнул, сразу очнувшись. Он монотонно забормотал, проделывая руками множество коротких, жутких марионеточных движений.

— Вы хотели, чтобы я принес себя в жертву тогда, в тот день, с которого вы презираете меня... Когда закололи крестьянина. Я должен был принести себя в жертву. Теперь я сделал это. Я погибаю... погибаю, а вы смеетесь. Не смеялись ли вы всегда? Вы смеялись в ответ на все мои страдания. Что же странного, что вы смеетесь, когда я погибаю. Ведь вы так злы! Ведь вы не христианка!

Она спросила серьезно и мягко:

— Почему собственно, почему вы сделали это?

В это мгновение Павиц высоко держал голову. Он возмутился против своей госпожи, в первый раз с тех пор, как принадлежал ей. Он высказал ей в лицо всю горечь, весь свой разъедающий гнев. В свой последний час он чувствовал себя смелым. Последний час давал ему право на все, он освобождал его от стыда.

— Почему? — заговорил он. — Потому, что я любил вас, герцогиня. Потому, что я все еще принужден был любить вас. Потому, что во все годы моего унижения я никогда не забывал того мгновения, когда вы были моей.

— Вы все еще думали об этом? — с изумлением спросила она.

— Всегда, — сказал он, почти облагороженный искренностью своего чувства.

— Я смирился, — прибавил он, — потому что должен был это сделать. Но никогда в своих мыслях я не допускал, что может придти другой и занять мое место. Наконец, все-таки пришел этот Делла Пергола, и это взорвало меня, как будто меня оскорбили и задели в моих правах. Я мучительно ненавидел его, с болезненной, жалкой жаждой мести, как разбойника, уничтожившего мои последние надежды — мое последнее прибежище. О, надежды, у которых даже не было имени, так бессильны были они. Но он должен был перестать существовать, этот разбойник. Его сегодняшняя статья была для меня освобождением.

Он застонал.

— Освобождением... — задумчиво повторила герцогиня.

— Освобождением, — еще раз сказал Павиц. — Теперь я гибну вместе с ним. Это кладет конец всем страданиям, это справедливо и не могло быть иначе. Потому что... — Он забормотал. — Ведь я виновен в его преступлении. То, что он так бесстыдно предал, — дивную тайну о герцогской короне, да, да, о герцогской короне над тем диваном, — я сам выдал ее ему. Да, герцогиня, я выдал ее ему, в кафе, хвастая вами: я не щажу себя. Я был болен от желания и ревности, от страха и злобы; я должен был говорить о вас, говорить вещи, которых я даже не знал, кичиться вами, унизить человека, который желал вас, унизить вас, герцогиня, потому что вы были так горды, — унизить и самого себя подлостью, которую совершал...

— Довольно, — сказала она; это обнажение души было неприятно ей. Павиц раздражал ее. Она спросила, полуотвернувшись: — Кто сделал это?

— Кто...?

— Кто убил его?

— Один из юношей моего клуба. Тот, чистый сердцем, помните, с полными души голубыми глазами, еще никогда не касавшийся женщины. Он прокрался после закрытия редакции в частный кабинет Делла Пергола с длинным ножом, которым всегда колол куклу, торчавшую на шесте и изображавшую короля Николая. Делла Пергола быстро повернулся, — в то же мгновение нож сидел у него в сердце. У юноши было большое уменье, потому что кукла, изображавшая короля Николая, тоже всегда вертелась...

— Приведите его ко мне, чтобы я могла поблагодарить его. Он рискнул для меня своей жизнью.

— Я не могу. Его арестовали.

— А! А вы, Павиц, на свободе!

— Да, да. Я еще на свободе... еще одно мгновение, — прошептал он едва слышно.

Оба молчали. Наконец, герцогиня сказала:

— Теперь оставьте меня.

— Да, да.

Он сделал болезненную гримасу и опять стал пробираться вдоль стены, не глядя на нее, белый, с темно-красными пятнами на лице.

— Еще одно, — крикнула она, когда он приподнял портьеру.

— Почему вы, по крайней мере, не сделали этого сами?

— Этого... я не мог. Я готов отдать свою жизнь, но... сделать это самому... я не могу. Я не могу... видеть крови...

И он опустил портьеру.

Он прокрался через гостиную, тяжело шаркая ногами, с галстуком, съехавшим за ухо. Он чувствовал себя осужденным, как тогда, когда она позвала его к себе, после смерти крестьянина, которого закололи. Только сегодня это был конец, и не оставалось даже жалкой надежды и даже страха, потому что в мире прекратилась жизнь.

Передняя уже опять кишела репортерами. Камердинер и Проспер, егерь, ссорились с ними и запирали перед ними дверь. Павиц замедлил шаги.

«Сказать им? — подумал он. Но прошел дальше. — К чему? Я не хочу. — Пересиль себя, грешник! — сейчас же крикнул он себе. — Пожалей бедняков, которым заметка о твоем поступке даст кусок хлеба».

Но он чувствовал себя не в силах спустить с привязи все это любопытство и дать излиться на себя всей этой жизни, такой шумной, похотливой, ревнивой, злорадной и насильственной. Он видел уже себя в стороне, в тени. Он удалился, опустив голову и страдая от того, что должен погибнуть в молчании, — он, чья жизнь в свою лучшую пору была шумной игрой.

На улице он подошел к полицейскому и спросил:

— Где находится окружной комиссар?

\* \* \*

Четыре ночи спустя герцогиня узнала о полном крушении нового далматского восстания. Его возвестил тот же разрываемый ненавистью голос, который швырнул ей в окно крики души мертвого Делла Пергола, точно комки грязи, смешанные со свежей кровью. В устах несчастного калеки печальная весть об уничтоженном народе превратилась в рев торжества. Все несчастье, которое порождал мир, было торжеством его ненависти. Сознание, что вера в лучшее будущее бессильна и вся жизнь бесполезна, опьяняло загадочную душу умирающего фанатика.

Она не приняла ни одного из многочисленных посетителей, явившихся к ней. Она ждала Бла, но подруги не было.

Якобус Гальм начал портрет герцогини. В наглухо запертом салоне он стоял напротив нее, выглядывая из-за мольберта с вытянутой шеей, и предавался мечтам о доме герцогини в Венеции и о своих будущих произведениях. Он был счастлив. Часто после долгого прилежного молчания у него вырывалось:

— Господи! Что только не стало вдруг возможным! — Чего только я не буду в состоянии сделать! — объявлял он. — О, я не мог ничего, пока я был беден и не имел поддержки. Чтобы только чувствовать, что я вообще живу, я давал насиловать себя Периклу и его коровам и потным борцам. Они делали меня больным и неспособным поднять кисть, но я мог, по крайней мере, тосковать, глядя на них, тосковать по... ах, по тому, что я сделаю теперь! К черту все мускулы на красных коврах, все упражнения мясников! Ваши стены, герцогиня, должны покрыться серебряным светом, в котором будут купаться дивные формы, легкие и свободные от плотности низших тел. Все они будут парить, возноситься, царить и покоиться!

Герцогиня вставила:

— Если бы только вы не начинали моего портрета каждый раз снова! Я вчера была уже почти удовлетворена, он был очень похож.

— Похож? — сказал Якобус, пожимая плечами. — Он мог случайно быть похож. Похожий портрет вам сделает каждый порядочный маляр. Чего ищу я, это — воплощения, достойного герцогини Асси; лица, отвечающего ее душе. Я должен из прохладной кожи и теплых волос дать образ чувства, глубокого, великодушного и благородного, и высокомерия, знающего только себя. Глаза неподвижно глядят на какое-то великое страдание, в них тяжелая и сладостная тоска. Женщина, которую я хочу написать, быть может, вовсе не та, которая сидит теперь напротив меня; но она может стать ею в следующий момент. Это она тогда, когда впервые явилась мне, вперила свой взгляд в глаза Паллады. Я пишу вас, герцогиня, по воспоминанию. В особенно благоприятные мгновения вы помогаете моей памяти. То, что я набрасываю здесь, на полотне, — пустая форма. Я оживлю ее, когда не буду больше видеть вас, после вашего отъезда.

В заключение он спрашивал:

— Увижу ли я вас когда-нибудь опять такой богатой, любвеобильной и свободной, какой вы стояли перед Палладой? Ах! Тогда я был способен наслаждаться, потому что мне не надо было ничего писать, потому что лихорадочный страх, что я не сумею написать вас, еще не овладел мною. Смотреть на вещи, не будучи принужденным писать их: какое счастье!

\* \* \*

Барон Киоджиа, далматский посланник, настойчиво просил герцогиню уделить ему час для беседы; она приняла его.

Он был ее старый знакомый, они встречались еще в Заре. В Риме посланник обращался с герцогиней Асси, как с враждебной державой, любезно и безупречно. Когда он хотел навестить ее в качестве друга, он оставлял посольство и в своем официальном экипаже отправлялся в Grand Hotel, где жил. Затем он садился в наемный экипаж, и, превратившись в частное лицо, ехал к герцогине. Возвратившись точно так же в гостиницу, он оставлял ее в качестве дипломата, опять занимающего свой пост.

Но сегодня на Виа Национале остановился его официальный экипаж. Посланник короля Николая вошел в гостиную герцогини с орденом дома Кобургов на груди. Барон Киоджиа был человек лет пятидесяти, гибкий, с седовато-белокурыми бакенбардами и маленьким брюшком. Он был жизнерадостен, любопытен, недоверчив, за исключением денежных дел, при этом достаточно образован, чтобы не относиться особенно торжественно ни к чему, даже к самому себе, но очень озабочен своей репутацией злоязычного человека. Его можно было легко принять за финансиста, и он не имел ничего против этого.

Он сказал:

— Вы не даете вашим друзьям, герцогиня, возможности быть довольными собой. Во всем Риме говорят только о вас, и как раз в это интересное время вы запираете свои двери. Нас спрашивают: что делает герцогиня, как она относится ко всему этому? — и мы должны отделываться неловкими выдумками, так как тщеславие запрещает нам сознаться, что мы ее вовсе не видели.

Герцогиня пожала плечами.

— Что вы хотите от меня, барон? Я устала, лето утомило меня. Я стараюсь немного отдохнуть в строгом уединении, прежде чем поехать в Венецию. Я возлагаю надежды на морской воздух.

— Вы даже не знаете, что дона Джулио Браганца должны были отвезти в лечебницу для нервнобольных.

— Мне очень жаль.

— Мне нет. Этот благовоспитанный молодой человек хладнокровно ставил на одну карту пятьдесят тысяч франков. Он не был богат и полагался на судьбу. Какое значение могло иметь для него, что испанская посланница не любила его? Madame Пиппа Пастиналь зрелая особа, — пока еще только зрелая, а не перезрелая. Безразлично: дон Джулио не мог жить без нее. Пиппа или лечебница для нервнобольных, а между тем по ту сторону этой альтернативы лежал весь широкий мир. Я знаю более хрупких завоевателей, чем этот дон Джулио, которые, однако, переносят более важные разочарования с большим достоинством...

— И с большей грацией, — прибавил он, целуя герцогине руку. Затем он продолжал:

— Смею ли я воспользоваться этим моментом моего глубокого и радостного восхищения, чтобы предложить вашей светлости мир с моей страной, которая также и ваша: в высшей степени почетный мир, как вы увидите.

— Я принимаю его, еще не зная, каков он. И если бы вы даже жаждали борьбы, барон, я больше не хочу ее — тут ничего не поделаешь.

— Тогда мне остается только попросить у вашей светлости прощения, что мы не пришли к вам раньше. Но после того, как ряд печальнейших заблуждений склонил к тому, чтобы видеть в вашей светлости врага, известного рода стыд, чувство стыда, на которое способны также государства и династии, помешало нам исправить нашу ошибку. Посредники, шпионы и любители ловить рыбу в мутной воде старались разбудить наше недоверие; они пытались даже заставить нас думать, что за новейшим, и, надеюсь, последним восстанием нескольких недовольных далматских подданных скрываются влияние и поддержка вашей светлости. С тем большим удовольствием пользуемся мы именно этим случаем, чтобы отменить конфискацию родового имущества Асси, ввести вашу светлость опять во владение всеми вашими поместьями и сделать вам свободным возвращение в Далмацию.

Герцогиня сказала развеселившись:

— Словом, мой милый барон: после поражения монашеской революции вы считаете меня совершенно неопасной и решились больше не обращать на меня внимания.

— Какое незаслуженное оскорбление!

Посланник возражал забавными жестами, но в его спокойной улыбке чувствовалось согласие. Он воскликнул:

— Вы слишком низко цените удовольствие, герцогиня, которое мне доставляет необходимость быть перед вами настороже. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что у меня достаточно хорошего вкуса, чтобы больше ценить прекрасного врага, чем безобразного друга.

На лице ее выразилось сомнение.

— Но я забываю самое важное, — весело сказал он: последовал новый анекдот из жизни римского общества. Началась легкая болтовня, вначале удивлявшая и раздражавшая герцогиню. Но мало-помалу напряжение, оставшееся от смертельно-тяжелых событий последних недель, рассеялось. В течение четверти часа она чувствовала себя легкомысленной, фривольной и невинной, как в семнадцать лет на парижских паркетах, когда ее окружали злоба и измена, не касавшиеся ее. Ей стало почти жаль, когда барон Киоджиа сделал серьезное лицо. Он сказал дружески, осторожно и вполголоса:

— Герцогиня, дайте мне на будущее время полномочие предостерегать вас от ваших друзей.

— Разве это необходимо?

— Это было необходимо. Но мог ли я решиться на это? Между прочим, вы подарили своим доверием монсиньора Тамбурини. Он воспользовался этим, чтобы прикарманить ваши деньги и потребовать от ваших противников еще больших сумм. Да, он непосредственно перед вспышкой подавленного теперь восстания предложил нам спокойствие в стране за определенную цену. У нас, разумеется, не было необходимости заплатить ее; мы и без того были уверены в своем деле.

— Значит, Сан-Бакко был прав: Тамбурини — волк! — с живостью воскликнула герцогиня. Она была поражена, и только.

— Ваш большой почитатель Павиц, романтическая карьера которого закончилась так театрально, в свое время вел очень дорого стоящую жизнь. Баше доброе дело и ваши надежды оплачивали ее.

«Меняет ли это что-нибудь в том Павице, которого я знаю?» — подумала герцогиня.

Она спросила:

— Еще что-нибудь?

Посланник сочно смаковал слова, которые собирался произнести.

— Но оба, трибун и священник, не могли так значительно уменьшить вашу кассу, герцогиня, как хотели бы. Самое большое опустошение было сделано неким господином Пизелли, известным в качестве игрока и, к сожалению, неудачного. Заведующая кассой, ваша подруга, высоко ценимая мною графиня Бла, как известно, не могла отказать этому господину ни в чем.

Герцогине вдруг стало холодно. Ее взор застыл, он покинул тонко улыбающееся лицо дипломата и приковался к какой-то точке на стене. Прошло несколько секунд, прежде чем она подумала о том, что нужно овладеть собой; но барон Киоджиа в эти мгновения был слеп. Он слишком упорно наслаждался собственным злоязычием. Его ядом он ослаблял самого себя: его наблюдательность притуплялась.

— Откуда у вас эти сведения? — спросила она.

— Меня снабдили ими. Если бы я мог открыть вам это раньше! Но мог ли я отважиться на это? Ваша светлость, судите сами! Итак, другая, тоже близкая вам дама, княгиня Кукуру, часто снабжала меня в высшей степени аккуратными и точными докладами.

— Вот как, — сказала она и сделала гримасу мимолетного отвращения.

«Сан-Бакко предчувствовал и это», — подумала она. В то же время ей ясно представилась фигура княгини. Она тотчас же внутренно проделала весь процесс, который теперь мог бы иметь местом действия потертую гостиную пансиона Доминичи и в котором она сама была бы нелишенным отдаленной симпатии судьей недостойной и смешной старухи. Она играла эту роль, как когда-то играла роль разливающей свет и неумолимой противницы старых, затхлых людей в королевском дворце в Заре или как когда-то в таинственном саду своего детства играла сказку о Дафнисе и Хлое. И в далматской революции, как и у эхо из павильона Пьерлуиджи, все кончилось смехом. Она видела, как искажалось и надувалось от гневного смущения красное, упрямое, как у колдуньи, лицо старухи. Она тихо засмеялась, и посланник смеялся вместе с ней, не зная чему. Она объяснила ему, в чем дело.

Несколько времени они забавлялись за счет семьи Кукуру. Герцогиня при этом думала:

«Итак, все связи, которые я поддерживала для далматской свободы, вдруг распадаются со звоном, как рассыпавшиеся свертки денег. Вся высота интереса и любви, которые были принесены в дар моему делу, выражается в числах. Как просто! Я давала деньги, и за это мне доставляли иллюзию, что я окружена борьбой, предприятиями и опасностями. В действительности, я была совершенно одна со своими грезами, — словно на одинокой скале, о которую разбивается море», — мечтательно докончила она, думая в глубине души о своем родном утесе. Белое дитя прислонялось к его зубцам.

И эта мысль помолодила и очистила ее. Значит, на самом деле, она вовсе не принимала участия в действиях, носивших ее имя во всей этой, рассчитанной на успех, довольно низкой игре на человеческих инстинктах. Она благодарила судьбу за то, что та помешала ей сделать это. Когда она, наконец, отпустила посланника, он заметил ее удовлетворение. Он остолбенел. На улице он размышлял, несколько встревоженный:

«Что это такое? Ведь я пришел к ней, чувствуя свое превосходство? Я все время делал ей пикантные разоблачения; а теперь, — я должен сознаться себе в этом, — я чувствую себя почти униженным. Какую власть все еще имеет эта странная женщина? Чем грозит она мне?»

И он долго тщетно пытался высчитать размеры власти, все еще находившейся в распоряжении побежденной герцогини Асси.

\* \* \*

Ночью герцогиня не могла спать. Она прислушивалась к завыванию сирокко. Он снова сметал в одну груду рассеянные слова посланника, и среди стольких ничтожных слов она все снова натыкалась на одно невыносимое тяжелое известие, и ее мысли отрывались от него, израненные. Она закрыла лицо руками.

«Какой позор! Как могла она перенести это! Она, с которой я говорила и грезила, как с самой собой. Как могла она жить так, без гордости перед самой собой!»

Она не понимала этого; но в тишине до нее мало-помалу донеслись тихие, молящие, кроткие жалобы несчастной, ее неожиданные просьбы о прощении, ее жажда смерти. Герцогиня теперь вдруг поняла смысл, скрывавшийся за всем этим, но он не смягчил ее. Затравленное, сомнительное, полное страхов существование подруги не вызывало в ней ничего, кроме отвращения:

«С угрызениями нечистой совести в груди она обнимала меня!»

В шесть часов она очнулась от тревожной дремоты. На улице стучал по мостовой костыль, и чей-то голос взвизгивал:

— Любовные истории поэтессы. Убийство графини Бла ее возлюбленным.

Когда герцогиня распахнула окно, кричавший уже находился под ним. Он, не видя ее, бросал ей свое зловещее ликование прямо в лицо. Она видела черное отверстие его рта. Яд Делла Пергола и его предсмертные стоны, шум борьбы побежденных далматов и их вопль: все эти звуки копировал этот рот, эти зубы яростно вцеплялись в злые вести, и испорченное дыхание, шипя, выбрасывало их в воздух. Но смерть Бла звучала еще ужаснее, еще более зловеще, чем остальные, так как улица была пуста. На ней не было никого, кроме бежавшего калеки. Неизвестно было, кого он преследовал. Вокруг все спало: его голос был единственным звуком, — для кого звучал он? В утреннем сумраке герцогине почудилось, что события, которые он возвещал, происходили не в мире действительности: нет, все это отвратительное зарождалось и вырастало в разлагающемся, гниющем теле этого нечеловеческого существа. В то мгновение, когда он выбрасывал его наружу, оно становилось правдой.

Она позвонила. Полчаса спустя она уже сидела в экипаже. Было холодно, о стекла барабанил мелкий дождь. Она думала: «Я опять всю ночь говорила с мертвой».

Она подъехала к дому, по светлым лестницам которого поднималась так часто: на последней носился аромат цветов, наполнявших большое ателье. Растрепанные книги лежали возле статуэток. Широкое окно сияло синевой, а внизу, на Испанской площади, искрилась жизнь. Она подумала:

«Какой вид имеет теперь эта комната? Что лежит теперь там?»

Ей сказали, что графиня Бла переехала уже несколько месяцев тому назад.

Она выехала за городские ворота и остановилась у одного из новых строений, похожих на развалины. В чулане, пропитанном запахом извести, кое-как накрытая и окруженная детьми и женщинами из народа лежала Бла. На лбу у нее был пузырь со льдом. На жалкой постели покоились ее изящные руки; кожа просвечивала сквозь тонкие кружева рубашки. Ее затуманенный взор приветствовал герцогиню, она пошевелила губами.

Проспер, егерь, вытеснил из комнаты любопытных. Дверь снова и снова со скрипом открывалась; он стоял за порогом и придерживал ее.

Герцогиня стояла у постели и молча смотрела на умирающую. Рука Бла тихо зашевелилась, но герцогиня не взяла ее. Она задумчиво слушала мучительный шепот.

— Ты здесь, Виоланта, и ты знаешь все, я вижу это по тебе. И ты не хочешь больше верить мне?

— Чему я должна еще верить? — спросила герцогиня, погруженная в созерцание этих черт, которые были для нее символом верности. Так значит, их ясность и кротость были только лицемерием? А между тем они не исчезали даже перед лицом смерти. «Для чего такое лицемерие? — думала герцогиня. — Какое ужасное напряжение! А ведь сейчас наступит конец. Стоит ли, действительно, лгать в этой быстротечной жизни?»

Бла упорно шептала. Ее губы несколько раз тщетно произносили каждое слово, прежде чем его можно было разобрать. Наконец, герцогиня поняла:

— Ты должна верить мне. Я любила тебя, я люблю тебя, и я честна.

— Я и верила, что ты грезила со мной. Нельзя было не верить этому. Но ты предала меня, Биче!

Она ломала пальцы.

— Как ты могла выдержать это!

Бла лихорадочно работала над словами.

— Я не обманывала тебя. Верь мне! Только поступки мои обманывали тебя. Но мое чувство к тебе осталось совершенно чистым. Разве мы не обещали друг другу, что для нас будет существовать только чувство.

Герцогиня молчала.

— Ради бога, поверь мне!

Она заметалась на подушках. Пузырь скатился с ее лба; из соскользнувшей рубашки выглянуло худое, тонкое тело, содрогавшееся от учащенного дыхания. На левом боку сдвинулась окровавленная повязка. Герцогиня коснулась ее лба и погладила ее руки.

— Успокойся, Биче, я попробую поверить тебе!

— Какое счастье, что я не сейчас умерла! Ты считала бы меня предательницей. Какой ужас! И не было бы никого, кто мог бы сказать тебе, что я была честна. Слушай, пока не поздно. Если бы я с твоими деньгами сгорела или исчезла в пропасти, — ты назвала бы меня лгуньей? Он, тот, кто взял деньги, был сильнее пропасти и огня. Я могла только любить тебя и умереть от него. Ах! Если бы я умерла мужественнее! Ты знаешь, как я хотела это. Но когда дошло до этого, я ослабела. Он заметил, что у меня были еще деньги. Я скопила их с тех пор, как живу здесь, и спрятала от него там в углу, где была щель в плитах. Когда он убивал меня, я открыла ему это в последнем страхе. Это была измена моей судьбе. Во всем остальном я была честна, не так, как понимают честность другие, — но как понимаешь ты, Виоланта!

Она потеряла сознание.

Герцогиня думала:

«Я пришла еще вовремя. Если бы я не услышала того, что она только что сказала мне, — она права, это было бы ужасно. Ведь мы верили друг другу во всем, почему же не верить этому? Раз это правда ее души. Во имя наших прекрасных часов, эта правда!»

— Это правда, слышишь!

Бла лежала с закрытыми глазами; герцогиня положила голову на ее грудь, дыхания не было слышно. Ее охватил внезапный страх.

— Биче, еще раз! Очнись еще раз, я должна тебе сказать еще одно слово. Я верю тебе!

Бла открыла глаза и улыбнулась.

— Благодарю тебя, — явственно произнесла она. — Твое дело победит, Виоланта. Я никогда не сомневалась в этом.

И тотчас же началась агония, с хрипом, с бурными движениями рук, с полными страха попытками бегства всего тела и с остатками непонятных слов, звучавшими так глухо, как будто исходили из черной, захлопывающейся дыры. Герцогиня видела, как погружается в нее та, кто была ее подругой. Безумный страх последнего момента охватил ее, она крикнула в глубокий мрак:

— Да, мы обе победим, Биче, ведь ты веришь в это? И я люблю тебя по-прежнему...

Она остановилась, растерянная. Дыра закрылась, больше не было слышно даже эхо.

Она долго созерцала успокоенное вечным забвением лицо. Оно было не очень бледно, на нем опять, как когда-то, был отблеск кроткого счастья, легкая грусть и склонность к тихой скорби. Она опять узнавала ее. Эта голова была очагом насмешливой и нежной поэзии, которая останется в мире и после ее исчезновения. Эта элегантная фигура шла своим путем, одинокая, уверенная, изящная, знающая страдание и сдержанная. Как было возможно то, что стало из прелестной служительницы духа: вещь и безоружная жертва красивого животного, темного потомка темных крестьян, вечно пьяных и сквернословящих, под влиянием алчности и вина всегда готовых взяться за нож. Откуда грозила такая судьба, и кому не грозила она, если могла постигнуть такую женщину, как Бла?

Герцогиня с трудом преодолела припадок слабости. Ей было страшно.

\* \* \*

После смерти подруги она чувствовала себя в Риме совершенно одинокой, и жизнь свою здесь бесцельной. Она ускорила свой отъезд. В последнюю минуту, когда двери уже не оберегались, к ней ворвался монсиньор Тамбурини. Она стояла перед зеркалом, готовая к выходу.

— Что вам угодно? — спросила она.

— Герцогиня, в последнее время доступ к вам был закрыт для меня. Совершенно понятно, что после всего, что, по воле господа, постигло вас здесь, вы хотите оставить Рим. Но, конечно, вы сделаете необходимые распоряжения.

— Какие распоряжения?

— Наше поражение чувствительно ослабило партию Асси.

— Партии Асси больше не существует.

— Как это?

В своем смущении он спросил без околичностей:

— Ваша светлость не хотите больше давать денег?

Она ответила еще короче:

— Нет.

Она вошла в салон. Тамбурини бросился за ней.

— Вы не обдумали этого, герцогиня. Что вы бросаете свое дело, — это жаль, но меня не касается... Но у вас есть обязанности. Или вы будете отрицать, что у вас есть обязанности перед бедняками, поднявшими восстание?

— Я не признаю за собой никаких обязанностей, к тому же у меня нет лишних денег.

— Теперь, когда ваше имущество возвращено вам!

— Я скажу вам кое-что: вы получили достаточно. Мне нужны теперь миллионы, чтобы воздвигнуть дворец, купить статуи и заказать много-много картин.

Тамбурини попеременно негодовал и сокрушался.

— Конечно, вы не обдумали этого. Далматские монастыри ради вас возбуждали народ против правительства, теперь им грозит закрытие. Тысячи крестьян разорены или погибли — за вас, герцогиня!

— Не за меня. Каждый хотел стать счастливее, и если за это понятное стремление они еще получили от меня на чай, то умолчим об этом. О монахах я вообще не говорю, они чересчур обогатились. Пожалуйста, не притворяйтесь, монсиньор, что мы не знаем исхода этой борьбы за свободу. Один господин, по имени Пизелли, получил слишком много; другой, по имени Тамбурини, по его мнению, получил пока слишком мало — вот и все. Какое это имеет отношение ко мне?

— Какое отношение это имеет к вам? — воскликнул Тамбурини, грозный от смущения. — Все те жертвы, которых вы потребовали, тысячи, которые истекли кровью за вас, тысячи, которым предстоит рабство, и их жены и дети, умирающие с голоду вместе с ними, — вы дадите погибнуть всем им?

— Они уже погибли, а если нет, то все равно, что погибли. Картины же, которые ждут меня, существа незаменимые. Я не имею права забыть их и дать им погибнуть в тени небытия. Бессмысленная и бесцельная жизнь нескольких тысяч человек нам обоим — будем честны! — совершенно безразлична.

— Нет! Apage!

Священник крикнул это громовым голосом. Он оперся левой рукой о стол и, заклиная, простер руку по направлению к кощунствующей. Его выпрямившаяся фигура, черная, широкая, угловатая и желчное, костлявое и властное лицо застыли в нравственном возмущении.

Герцогиня с интересом смотрела на него.

— Я готова была счесть вас лицемером, монсиньор. Поздравляю вас с вашей честностью.

И она вышла из комнаты.